Игорь Олен

СЕЙ МИР

СТЕНА



18+

Игорь Николенко

Сей мир. Стена. Монастырь

«Автор»
2026

Николенко И.

Сей мир. Стена. Монастырь / И. Николенко — «Автор», 2026

Про первородный грех, основавший историю и покончивший с предысторией. О непадших и падших. Об аутистах и олигархах, разуме и законах, об интеллекте, женской обители, словобоге и Боге, столпниках, идиотах, ценностях мира, смерти и жизни, о христианстве и Андрогине, рае и истине и вагине.

© Николенко И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 57

Игорь Николенко
Сей мир. Стена. Монастырь

Романтив

Про первородный грех, основавший историю и покончивший с предысторией. О непадших и падших. Об аутистах и олигархах, разуме и законах, об интеллекте, женской обители, словобоге и Боге, столпниках, идиотах, ценностях мира, смерти и жизни, о христианстве и Андрогине, рае и истине и вагине.

Отечество наше там, из чего мы пришли, — там отец наш.
Плотин

1. Щепотьевская дура

Когда она родилась (в Союзе, в Москве, в роддоме, с муками матери, чтоб явиться в ноль-ноль дня прошедшего и в ноль-ноль настающего, как бы вроде вне времени), меж врачами имели быть реплики:

— Кто у нас? мальчик? девочка?

— Кто? Ни то и ни сё. Так, данность…

«Даной» оно было названо.

Просто-напросто Дана.

Данное для чего-то как-то кому-то — но прежде вытащенное из лона и унесённое для анализов, где осталось в кувезе, в капсуле для младенцев. Матери был намёк избавиться. Мать смотрела испуганно, спрашивая, в чём дело. Ей объяснили: «Неадекватность». Мать стала вскармливать «данность» грудью, но, пока это длилось, должное, говорили ей женщины, быть блаженно-приятным, — так вовсе не было. Отрешённая, она пальцем сдержанно плод неволила, чтоб не тыркался… А потом она вовсе плод не кормила: груди иссякли и — расхотелось вдруг.

Вскоре мать с Даной выписали. Унылым был путь в автобусе, проезжающем хмурый зимний пейзаж. На Ломаной, подле Яузы, улице, в доме, с виду из старых, из довоенных, нештукатуренных, на последнем из этажей (на пятом), длинный мужчина молча встречал их. И Дане виделся с сих пор сумрачный потолок в молчании с дребезжанием ложечки, подававшей смесь; надо было дотягиваться к еде, — мать на́ руки не брала. Порой раздавались злые фальцеты, Дану гнетущие, а кормили её при этом и одевали спешно, рывками, либо влекли на балкон в коляску, то есть «гулять».

В сей дёрганной и туманной среде со временем Дане стало пять лет; ходить научилась; и ей открылись вроде бы краски: жёлтые, красные, изумрудные… Дана вывалила их в кучу, чтобы рассматривать. Наскочив, мать сгребла их с криком, что, дескать, «мерзость позволила себе быть, а быть ей нельзя!» И Дане, как ей до этого есть не нравилось, ведь еда часто дёргалась и бывала холодной, так разонравилось уловлять в пронзительных воплях смысл. В молчании и туманности было лучше — в мире предметов, красок и звуков, смыслов тем паче, было ей хуже.

Как-то и в чём-то Дана нашкодила. Долго длинный мужчина нудно шумел на мать. А потом он пропал и больше не появлялся.

Год спустя Дана стала вникать в слова (кои якобы «жизнь» для «твари» и, по Кириллу [александрийский архиепископ и богослов, век пятый], «через свет коих тварность из тьмы пошла»). Но всегда она видела странно и по-другому, слышала не в словах отнюдь, но в глубинах души своей.

Впрочем, что слова́? Принимать через смыслы и в оболочке слов — значит истинно? Плоше, вдуматься, перцептирует вошь, кальмар, инфузория? Плоше, вдуматься, перцептирует гниль, червяк или «тьма» того же Кирилла в, дескать, безмозглом небытии своём? Вдруг во «тьме» этой истина? Ведь «не быть» не равно «не жить». Быть — одно. Жить — иное. Вдруг «тьма» живёт-таки, как и «свет» живёт? Вдруг последняя жизнь, бессмыслая, из простейших, воспринимает, чувствует тоже: плохо по-нашему, хорошо по себе? Вдруг и Дана вмещала мир фантастическим, непостижным нам алогическим «тёмным» образом, без посредства слов, вне понятий и смыслов, не понимая, что, скажем, краски трогать нельзя? Зачем нельзя? отчего нельзя, если каждое из «нельзя» стесняет мало-помалу и если смерть есть итог стеснений? Так Дана чуяла, но в словах не могла сказать.

92-ой год не был похож на прежние ни шумами, ни видами. Мать явилась раз с женщиной, назвала её «тётя» и предназначила с тётей жить, сказав:

— Я иду в монастырь, в затворницы.

Тётя Дану схватила.

— Ай, сиротинка!.. Риммочка, краля, я приглижу за ней… На кого покидаешь нас?! — Так сказав, тётя села «чайку попить».

Скоро мать собралась в дорогу, в чёрном платке, с баулом… В поезде мать смотрела в окно, слезила и объяснялась:

— …жизнь мне испортила…

— …а я график, лауреат притом, у меня неприязнь к уродству… Да, эстетический ступор, если хотите…

— …мужа любила я… дать ребёнка хотела… и зачала от друга. Это не грех ведь?..

— …Бог наказал… — частила мать, будто не было Даны, хоть та рвалась близ тёти в крепком объятии потной жирной руки, мешающей встать.

— …она — это зло! нечистая!.. Не боялась бы Бога… Я православная… Да она ведь не плакала, не смеялась ни разу! Врач сказал, заторможена… Но ведь плакать должна, должна! Идиоты ведь плачут?.. Ей всё ничто, нет нервов… И у неё нет тени.

— Ай, ты, намучилась! — выла тётя. — Краля ты наша! Чисто святая!

Дана не чувствовала, что́ хочет мать, но отметила, что родной силуэт стирается, обрывая волшебные, и́скристые меж них узы.

Был пеший путь в полях, что, продавлены речкой, за косогорами подбирались к леску в снегах. Тропка плавилась по сугробам к маковкам церкви, видным над крышами серебристого колера… У ворот, отворённых монашкой, мать попрощалась с очень плаксиво воющей тётей.

В тот же день, поздно, были опять в Москве.

Тётя топала улицей с ошарашенным людством ельцинской эры, ищущим шансы к обогащению; подле дома в продторге выбила колбасу, хлеб, овощи, пререкаясь с кассиршей, что, раз у них цены «прут наверх кажный день гляди!», она тоже, «со вторника», на своей ткацкой фабрике так «накрутит что сдохните!» Тётя грызлась с кассиршей, вызвавшей «Ельцына, и енфляцию, и разор в стране», битый час, витийствуя, что вчера вздула цены «на пододьяльники» на их фабрике, а сегодня, коль «сыр в цене в магазине», на́-те вам «втридорога бюсхалтиры». Дана видела схватку их, точно в мареве.

Дома тётя варила ей «Доширак», твердя, что «не доброй к хорошей к ней, к дуре», тёте — только лапша в воде, потому как «критинок учат». Дане рацеи были никак; ни зла, ни добра, ни слов, ни вещей, ни смыслов Дана не ведала.

— Идиотка какая! — тётя однажды Дане сказала и, оголив её, с неприязнью осматривала, вертя. — Ишь, диво-то!.. нет ни письки, ни сиськи… Это чурбак почти. Хорошо, руки-ноги есть.

Но прилюдно стенала по «сиротинке», кою-де «холит-рóстит-лелеет», бросив единственного «сынка» за «тридивять в Омскай области». С сыном тётя созванивалась: «тирпи, сынок!», так как «чёрт бы подрал их, энтих московских! сёдни навроде им монастырь давай, а как встрянит вернуться?» Тётя подчёркивала: дом «в центре» и она «вписана, это все перспиктивы есть; надо вытирпеть».

Так что лишь через год-другой, после трёх ездок к «тру́днице», не желающей видеть «чудище», тётя вывезла сына с Ма́тово, дальней станции, где бандитствовали и пили, проституировали и мёрли. Рыхлый, дебелый, малоподвижный и чем-то кислым пахнущий Гарик был лет за тридцать. Он, обожая тёмное пиво и теле-спорт, с утра и до вечера ёрзал кресле, локти провесив за подлокотники, с батареей бутылок, и не сводил глаз с бокса, футбола, тенниса, гонок, регби, хоккея; к вечеру он сопел, зло пукал, чтобы, поев котлет, отвалиться в кровать. Впоследствии он устроился барменом в грязном баре, где, под немолчный грохот шансона смешивая «бухло», смотрел опять тот же спорт из плоского телевизора, что свисал с потолка в углу. Он поигрывал у букмекеров и у матери брал в долг деньги, так как доходы быстро растрачивал, а работать, ловчить, мошенничать либо делать свой бизнес он не умел, бездарный и апатичный.

Дана жила на кухне, в стае дворняжек, тётей искомых и приводимых, пестуемых до времени, а потом презентуемых, дескать, в «добрые руки». «Я не могу тирпеть, животина чтоб мучилась», — уверялось с плаксивостью. Тётя Дане вручала бланки с рекламкой; в них говорилось: «очень приличная сирдобольная женщина» завела бы «собачку», только «бесплатно». Дана расклеивала рекламки; им приводили псов. Также Дана искала псов на свой страх и риск лично и добиралась чуть не до Щёлково; всё живое само к ней шло. Кошки, голуби, птицы, даже деревья, грязная Яуза и немытая городская земля с постройками — Дане виделись ярче, радостней, чем людское, смятенное, беспокойное, и их связи были красивее, представлялись бурливым красочным спектром.

Как появились псы, тётя стала без устали печь мясистые пирожки и зразы; кухню заполнили печи, тостеры, духовые шкафы и плиты, выпечка множилась. Но от запахов кухни псы убегали прятаться в комнаты. Дана их выводила в сквер на прогулки после занятий в десятилетке, где её дёргали и мытарили шутками, типа: «Данка, ты кто у нас: баба? лошадь? мужик?» — и ставили чаще двойки. Ибо нюансы психики Даны не позволяли счесть её дурой явственной; в повседневной среде, итожил врач, «аутизм у ребёнка» может убавиться; а среда эта — школа, школа обычная, в кою тётя захаживала в дирекцию кочевряжиться жертвенностью подвижничества.

— Ночей не сплю! Про неё биспокоюсь! Встану, бывало, — как, не недужит ли? Молочко, фруктик, мясце… В наше-то времечко?

Время страшное, соглашались, и, в целом, «девочка», выражаясь корректно, «сносная, конгруэнтная». В джинсах, в свитере, Дана впрямь была ничего, с диковинной, правда, мимикой: белокожа, пахнет приятно, как ванилин, и зыбкая; но причуд анатомии не видать в одежде. В общем, «мутантке» надо мирволить. Двойки ей исправляли, общее было «три».

Снедь (выпечку тёти) Дана совала в сумки-баулы и развозила после уроков либо в каникулы. Гарик вскоре уволился из подвального бара; стало ненужно, ибо их бизнес разукрупнился: наняли стряпок, живших поблизости, поставляли им мясо, жир и муку с приправами, а товар забирали и продавали оптом в киоски. Оба подсчитывали рубли. На кухне вис запах псины, ибо собак нужно больше, чуть не десятки, дабы «спасать» их и «подрабатывать»; взявший пса «за бесплатно», тётя твердила, должен был «чуточки» приплатить в знак искренности намерений, ведь тогда пёс — что деньги, а их не выкинешь просто так. И впрямь, задуматься…

Был июль с суетой у банков, фондов, товариществ и базаров. Сброд вознамерился богатеть, подстёгнутый трёпом властных верхов, корыстных и беспринципных, нагло госсобственность воровавших. Гарик томился в кожаном кресле, квёлый и потный, и только пиво пил, а когда пришла Дана, что развозила снедь, он, позвав её, расстегнул ширинку.

Кончилось из-за колли, рыжей, весёлой, с белой подпалиной на груди и в белых на лапах гетрах, с гривой из рыжей, с изжелтью, шерсти. Им привели её по развешенным объявлениям, что «хорошая сирдобольная женщина завела бы собачку». Дана с ней проспала ночь, вызвав досаду многих других псов, очень завистливых, а когда утром тётя, вся в бигудях, послала её на почту, Дана шагала с радостным чувством, что она — колли, что они будут как бы подруги и не расстанутся. Возвратившейся, тётя сунула ей компот; собак же и колли не было: мол, забрали. Тут растрезвонился телефон в прихожей; Гарик побрёл из ванной и не закрыл дверь; Дана шла мимо и увидала кипу ободранных свежих туш, поленницу лап с когтями, а на полу — кладь шкур с венчающей шкурой колли. Вспыхнули спектры, и Дана бросилась из окна, с последнего этажа, вниз.

Осенью, в октябре уже, подвезли её из больницы в «скорой» до дома и укатили. Ибо слезливая сердобольная тётя, что навещала её, исчезла, выяснив, что убогая перестала вдруг говорить и смотрит на всё без смысла; плюс по РФ брели 90-е, все плевали на всех; до Даны всем было пó фигу, — «фиолетово», выражались. Дана взошла к квартире, но повстречала там незнакомцев, грохот и пыль столбом. Скарб отсутствовал, кроме сумочки на полу с помадой, солнечными очками, керлером и письмом.

— Эй, что тебе? — крикнул кто-то.

Дана не знала «что» и ушла.

Спустя два дня, Дану взяли в детский приёмник. Взяли бы раньше, будь она нечто определённое, то есть нечто постижное медианным сознанием в силу схожести и подобия свойств и форм людских. Но была Дана явью, в чём затруднялись даже и пол назвать и найти, скажем, отклики на явления мира, но и больной не была в той мере, дабы отправить с ходу в психушку. В ней, восьмилетней, грезилось *сила*, не полагающая мир сущим, но норовящая, подступив «к вещам» («Zu den Sachen») чуть не вплотную, выяснить, чтó они из себя де-факто, и обрести бытийность и достоверность, не вытекающую из догм, суждений либо предвзятостей. В Дане тот эффект, что, не видя в ней ясного и привычного, позволяющего закрыть вопрос, люди смутно гадали, не понимая, что интерес их тем стеснён, что столкнулся с премирным неким феноменом, в коем женское и мужское, истинное и ложное, да и нет, свет и тьма, смерть и жизнь, диссонанс и гармония и т. д. оппозиции пребывали неслитно и нераздельно в теле и в психике. После встреч с ней молчали, не отослав её к мозгоправам, не полюбив её. То есть не было и тогда ещё в ней того, чтоб, связав концы и начала, этим созданием овладеть, *поняв*, ибо теми, кто *понят*, мы обладаем. Дана, фактически, был вопрос без ответа, предупреждение, что, закончи хоть Гарвард и переполнись всей в мире мудростью, — на вопрос не ответишь.

Дану раздели и грубо вымыли, удивляясь уродству. Сумочку, что была при ней, отобрали. Но Дана ведала кардинальное, сопряжённое с извлечёнными из той сумочки письмами, да не так причём, что, мол, некая область, некий район, село, Серафиму Федотычу, но в белёсой размытости ей зияли подвижные турбулентные скважины, сквозь которые *видно*.

Дети в детдоме часто дрались, проказили, обзывали друг друга и отнимали у Даны пищу. Дана не спорила: ей и худшее раньше было без разницы; а теперь, после колли, есть ей не нравилось. Дана, в общем, могла есть, — но и не есть могла; чувства голода, жажды, впрочем, и зноя, Дана не знала; если точнее, то прекращала знать. В классе дети шумели; Дана молчала большею частью, чем раздражала многих соклассников: побродяжек, отка́зников, хулиганов и даунов. Дети жаждали бурь и ярости как привыкшие их терпеть; поэтому ей внушили фразу, должную «заводить училок», и Дана, спрошенная, талдычила:

— Я не знаю ни А ни Бэ.

Смеялись.

Вряд ли смеялись, если бы ведали, что не тупость рождала данины странности, а иная перцепция, что задачки и правила означали условности, ей враждебные, и задачка про фирмы, строящие та 5 домов, эта 7 зданий в год, продлялись внутри неё в Апокалипсис шесть-шесть-шесть, как писано, что «*здесь мудрость*» и кто «*имеет ум, тот сочти числа Зверя, ибо те числа суть шесть шесть шесть*». В стремлении цифр к порядку был ужас Зверя с многими ртами и диадемами на рогах, но главное, что была там погибель рода людского. Вряд ли смеялись, если бы знали, что ей затмение, превышавшее самый яростный ослепительный свет, мешало *знать*.

Формы Даны дивили: дети, раздев её, бормотали:

— Нет ничё! Ты, Данюха, как кукла, блин!

Дана всё позволяла, чтобы ребята с нею дружили, ибо радушие Дане нравилось. Только с ней не дружили: больше мытарили, изгалялись. В общем, дошло к весне, что решили устроить ей «как у девочки». Собрались к ней оравою во главе с бойкой Галей, стали держать её. Облачённая в белый рваный халат, со скальпелем, Галя, детище пьяниц в роли хирурга, ляпнула через белую медицинскую маску:

— Вы умираете, пацыэнт. Я знаю ваши болезни, я их учила в мединституте, и я спасу вас. Вашу болезнь звать «дура»; лечится снизу вверх… Наркоз давай!

Дане брызнули в нос шампунем. Произвели разрез, и другой разрез…

Вслед за чем все умчались с визгом за Галей, перепугавшись. Дана звала в слезах:

— Мне не больно!

Про «операцию» новость вздыбилась и клубилась в подробностях; ребятня донимала Дану глумлением. Завалив третью четверть, всеми шпыняема, Дана как-то пошла сперва вдоль забора проулком и на вокзал затем, а оттуда, сквозь вихри и турбулентность, чем ей мерещился мир вокруг, долго ехала, говоря, коль спрашивали: «Я к дедушке». После Дана тряслась полдня в кособоком автобусе по апрельским пригоркам с редкими рощами и дичающими полями. Кончился путь в Щепотьево, подле речки в долине меж косогорами. Там открылись: храм красного кирпича, разваленный, и два дома, кирпичные, но с сенями из дикого светловатого камня; меньший, при садике, был обочь родника, текущего к речке лугом из бледносерых, высохших, утрамбованных снегом за зиму трав с торчащим столбом над ними. Столб пронзал колесо телеги с ветхими деревянными спицами, на которых толокся немощный старец. Дана, хоть маленькая, достала бы исхудалые и в коросте ступни его. Но она не решилась и подняла взор выше, по мешковинным штанам — к хламиде, к ласковому кривому лицу.

— Ты дедушка?

— Про тебя мне писали раз… — и тот слез. — Я дедушка, но двоюродный… Я вернее, твой прадед, звать Серафим меня.

Он провёл её в дом с квадратным столом близ сводчатого окошка плюс с табуретками и кроватью близ русской печки; выслушал, что могла ему правнучка рассказать; вздохнув затем, мол, «конец» его «подвигам», начал печь топить и еду варить, говоря, что они «проживут»: ему сюда носят пенсию, одевается он в ничто, ест мало и Дане тряпок — шкаф от прабабки.

— Я ведь не есть могу, — сообщила вдруг Дана, чувствуя, что так лучше, именно: здесь живя, ей не есть, совсем.

Познакомив в другом дому Дану с пьяницей лет под семьдесят — с бабкой Марьей, с курицами и псами, дед ушагал на «столп» с насаженным колесом — стоять на нём; дед стоял фасом к церкви — к храму из красного кирпича в развалинах; он стоял, ухватясь за столп. На закате он медленно и кряхтя уселся на колесе своём, свесив голые необутые ноги, и задремал. «Подвижничал» этак столпником.

Дана жить пошла в сём Щепотьево в древнем доме-избе, лепившемся у подножия бесконечного склона, к речке сходившего. Она видела деда (или же прадеда) на столпе то на жухлом апрельском травном лугу, по коему мчали палы, то в сорняковых ордах июля, что возносились даже до старческих тощих ног в кальсонах, либо в сугробах, лезших до спиц колеса подвижника В холода выявлялись струями дыма крыши Мансарово и Лачиново на востоке долины маленькой речки; запад же был таинственен… Дед в морозы слезал порой за нагольным тулупом и чтобы чай попить.

Было им хорошо вдвоём; ни души в снегопад и ливень; а и в погоды разве в неделю, в месяц пройдёт кто: либо поп «флавского», дед поведал, прихода батюшка Глеб заявится повздыхать про «тёмные времена» для веры, либо зятья придут к проживавшей здесь во второй избе в этом самом Щепотьево вышеназванной бабке Марье, — «оба два из Мансарово», объяснялось.

Дана гуляла: к близкой к ним церкви ли (а вернее, к развалинам), что дед звал «Вознесение», где погост пучил холмики без крестов и с крестами и с обелисками; вверх на склон ли, так что за древним, брошенным садом было бурьянное бесконечное поле, раньше «пшеничное», вспоминал дед; к сёлам ли (к отдалённым Мансарово и Лачиново) вдоль руин в садах и столбов без проволок; к быстрой речке ли, дедом званной «Фисон» (хоть имя у речки «Лохна»). Жить-быть в Щепотьево Дане нравилось. Здесь тотальная мировая путаность обнажала вдруг контуры неподдельного нечто, близкого Дане… Годом позднее Дана сдружилась с маленьким мальчиком из Лачиново, приходившим рыбачить, — с Ваней.

Дана не ела и не спала теперь. Если дед не молился, Дана присаживалась к столпу его, чтобы слушать, что он расскажет.

— Думаешь, испокон так было? — раз тёплым вечером завздыхал дед, кончив с ней библию на «Второй книге Ездры», слез с трудом с колеса на столпе своём и повёл её мимо грустных, сплошь забурьяневших, в ряд, руин по заросшей дороге. — Было тут, внука, прежде Щепотьево; и сыздетства оно во мне. Ой, и доброе было это село у нас! Тут, направо, Сигай жил, тощий-претощий, а раз под лошадь встал — и понёс её; он мешок пятиведерный от земли на чердак швырял. Тут, где клён, тут жила раскрасавица, к ней ходили из города; тьма парней толклась! с Тулы сам секретарь был; девка твердит ему, чтоб венчался с ней в церкви, и, хоть за то под расстрел шли, он согласился. А через год она наезжала с другим с Москвы и старушкой скончалась. Смерть красу не должна губить, думаю… Внука, тут… — Дед отвёл ветку вишни, ткнул на кирпич в траве. — Тут наш Собственно Барин жил; он на деле байстрюк был, тоись внебрачный, но сильной гордости; сам пастух, а кто кликнет простецки, он тому: «Я вам, собственно, ни вот столько не Митрич, я вам не ровня»; так и был прозванный. Комиссары приехали: «Ты ли будешь Чадаев?» — «Собственно, буду я Чаадаев, — он отвечает, — званья дворянского». Чаадаев и вправду был, но не он, а отец его, дворянин. Чадаево, что за храмом, с нашим Щепотьево и другими селищами — все его при царе считалися; предводитель дворянский был Чаадаев! Собственно Барина и к стене, врага, — пролетарская революция! — но, выходит, за гордость; был байстрюком он… — Дед повздыхал чуть-чуть. — Нет Чадаева. От Чадаева чад один, от Щепотьева нынче только щепотка; сгинули сёлы-то… — Дед опять пошёл и держал Дану за́ руку, говоря: — Под вязом, — глянь, там повыше, — прежде бандит жил, после войны жил; выйдет на тракт и грабит; знали про это, но откупался, вот как теперь в стране, но не доллары, а пришлёт самогонки, мёдику, яйца, кур, поросёночка. Был смельчак один, заявился в милицию, что такой, мол, на Сталина на товарища матом, — это придумал он на бандита, чтоб засадить того, а ему: напиши всё; он написал как есть, но милиция: «Почерк твой, наймит буржуа́зии? На-ка срок тебе за товарища Сталина, что его ты охаивал!» Слёг бандит сам собой, лишь в конце признал, что убийцей был; Бога чувствовал. Тут… — дед хлопнул по липе подле других руин. — Немцы к нам не дошли в войну вёрст на пять, но

снаряд прилетел сюда и убил ребятёнков… Там, — дед махнул рукой. — Внука! Там вон, кого я любил, жила; а теперь там развалины… — Он, ссутулившись, смолк вздохнув.

В мае прибыли из района власти; деду с оркестром дали медаль, шумя: «Обрели героя!» Он, не слезая с шаткого неустойчивого столпа, держал звезду в кулаке и плакал. Дали и премию: продуктовый набор да водку, — и бабка Марья вечером испекла пирог, напилась, после мигом всё съела, горько стеная: «Вымру, как будете?»

Славный факт отразили в прессе, при фотографии, где старик при медали на колесе стоит. Наезжать стали с Флавска (это райцентр их), с Тулы, с Рязани, — даже с Москвы для фото! — спрашивать о судьбе и истине. Дед твердил, его рок — «на столпе стоять», участь мира — «закончиться», ну, а истина значит «Бог Живой».

— Что, бог может быть мёртвым? — спрашивали насмешливо.

Дед молчал.

На «УАЗике» приплывал бездорожьем «батечка Глеб», — звала его бабка Марья. Он в рясоносной тучной телесности говорил о житье-бытье, о погоде, о власти денег и завершал визит рассуждением о «таких-сяких», кои ищут спасения, но притом «громоздят соблазны».

— В подвиге каждом внутренний строй в цене. Христианин — чин внутренний, — повторял он из «о́тцев» (Марка Пустынника). — Только внутренний подвиг, подвиг духовный, а не наружный, вот что потребно! Подвиг ума. И мысли. Ты же — в соблазн стоишь, во прельщение.

— Грех есть именно от ума и мысли, — дед отвечал ему, — не в упрёк тебе, отче Глебушка.

— В общем — истина, Серафиме! Истина лишь в соборном!

— В общем-соборном я на войне был; после был в лагере, в Магадане… Истина в частном, — столпник вздыхал.

И спорили… «Отче», сидя в «УАЗике» на бурьянистом, слякотном предосеннем лугу в дожде, под трухлявым столпом со столпником, выпивал, твердя:

— Серафиме, раб Божий! Ты хоть герой войны, только истина человекообразна. Что в человеке — это и в истине. Так что зря на столбе торчишь. Будь послушливей — станешь истинней! Ибо истина кротка, благоприлична, смиренномудра!

Столб покосился перед двухтысячным (окрестили «миллениум»). Затяжная весна была! В майский снег, побеливший сад, занедуживший дед, отыскав лист с ручкой, что-то писал, шепча, три часа и велел отнести письмо на почтамт во Флавск.

— Десять, внука, там километров. Или двенадцать.

Дана, хворавшая отчего-то в этот год больше, чем дед в сто лет его, побрела с письмом. Немощь сказывалось в приливах, в сердцебиении, в затмевании спектров, чем представлялось ей всё доселе, и в подмечании вещных абрисов. Забывавшей былое, жившей в спокойствии, ей, шагавшей во Флавск с письмом, открывался «*сей мир*»: сперва от двух кровлей её сельца и развалин Чадаево — до лачиновских выпасов, после — к избам Мансарово, где ей молча дивились, «дуре щепотьевской». Эти сёла проследовав, Дана двигалась дальше в глинистой слякоти по дороге вдоль склона; минула Квасовку с белоснежным дворцом средь пальм и, пройдя разлог, зашагала в Тенявино, нежилое в концах своих, но с живым, подле церкви в руинах, центром, — чтобы увидеть вдруг городские дома вдали и шагать затем босоногой «кретинкою» под ехидными взорами, ибо в местной газетке было про «столпника» с невменяемой правнучкой — «воплощением духа вечной природы». Дана нашла почтамт; ей конверт опечатали, пока в зеркале вглядывалась в себя… Назад она шла невидяще до лачиновской предпоследней избы за тыном, возле которой впала в истерику — громко, бурно, навзрыд, смеясь притом, как от радости… В ту же ночь понеслась она вновь во Флавск, но бежала недолго, ибо у Квасовки низошла к сиянию подле речки Фисон, по деду, (Лохне, по-местному), дабы зреть в воде стран-

ный Лик, что взывал без слов: «Кто ты, кто ты?» Бок о бок с Ликом Дана пустилась к очень далёкому велелепному саду, но вдруг упала.

После скончалась Марья Ивановна. Погребли её средь бурьянистых частых вздутий погоста возле развалин местного храма красного… нет, багрового кирпича семнадцатого столетия; вслед за тем разобрали дом, увезли камень, шифер, кур, доски, прочий хлам на дворы свои её дочери и зятья, но бабкиных двух собак не взяли.

Так на Щепотьево и на призрак Чадаево стал один всего дом, кончавший строй бредшей много вёрст по разлогам и склонам электросети. Вскоре два сумрачных и взлохмаченных парня все провода сорвали: «Выпить нам нада, слышь? Бле, акей, цветмет…» Дед смотрел на них со столпа, к которому привязался, ибо, прочтя письмо, привезённое утром, начал вдобавок подвиг молчальника. Дану это пугало, и она крикнула:

— Ты зачем молчишь?

Дед ответил не сразу: прежде луна взошла. Стрекотали кузнечики и журчала вода течения, когда он, сказав, что отнюдь не молчит, а значится «во святом безмолвии, кое есмь неотступный, непрерываемый зов Бога и предстояние перед Ним», — опять умолк. Иногда он терял сознание, обвисал без сил. Дана робко трясла его.

В сентябре, в рождество Пречистой, он, после обморока, заплакал и, отвязавшись, пал со столпа на травы около Даны. Дождь стал накрапывать, но им было никак. Прочтя ей главу из библии, он внезапно вскричал:

— Зло злое! Где же, зло, мощь твоя?! Также ты, о, ад адский! Где же, ад, верх твой?! Жизнь присновечный только наслéдит, кто препоясани чресла истиной и оболкшеся в правду и восприимише полноверие, иже Бог Творец! И возжажда я к Жúвому! Всеблаженни есмь кроткие, кои ищут чудес Его!.. А я был, внука, в храме сём Вознесения в дни давнишние дьякон, и в Соловках терпел, и берлины брал… Но прилепе душа моя к Богу!! — радостно, юно заголосил дед.

— Хватит, не стой столбом! — прекословила Дана.

— Ибо за всех стою, — восклицал он, — против падения, как мы пали во предках! Бога молить хочу! Звать меня Серафиме. Он, горний ангел, пал в ризы кожаны. Но теперь я восстать хочу, как восстал Фалалей в клетушке! как Варадат восстал, что сидел в мешке! как Иаков восстал, бездомный, будто собака! как Симеон восстал и сто лет стоял на столпе своём с вознесёнными дланями, так что думали, человек ли он. Мне как он стоять… — и, кряхтя, дед полез на столп. — Свет зажегши, кто же под спуд его?..

— Я уродка! — крикнула Дана. — Я как не мальчик и как не девочка. Я не знаю ни А ни Бэ.

Хотевший стать на столпе, косом теперь, на тележное, шатко-валкое колесо, дед слез твердя:

— Несть пол мужеский и ни женский. Ибо Един Господь надо всеми во всех. Ты слушай… — И он погладил ласково Дану грубой ладонью; на пиджаке его взблёскивала звезда. — Котёночка! Слушай тайну, кою не сказывал, лишь тебе скажу. Про тебя в книге Бога — верь, про тебя как раз! — что тебе дастся рай. Исайя, третья глава, стих пятый, что воды Лохны, прежде Фисона, струйные тихо, из-за Чадаево и Щепотьево, из-за Ура с Харраном, льются из рая к нам. Лохна — райская, ибо древле Фисон звалась. Мы к востоку от рая, в этом Щепотьево. А в раю, внука, так пойдёт, что, пускай мы тут в смерти, — там будет жизнь для нас, и ты будешь там. Оградись и внимай себе. Ибо ты вне законов, райское семя!

Дед в ту ночь умер, ей повторяя: — Веруй с надеждой… Бог, Он всё выправит…

Обронилось письмо. Прочла она, схоронив тело тут же, близ тихо рухнувшего столпа, такое:

«О, мне хватило не отказаться сразу в роддоме и пять лет видеть, как разбивается мне привычная жизнь, лишая меня любимого и любимой профессии, а взамен не приходит даже и блика, искры приязни к жуткому чаду. Только и делала, что кусала мне грудь и портила мне работу. Я как художница не могла видеть рядом неэстетичное, злое нечто и идиотство этого нечто. Грех мой велик, велик… Серафим же Федотович! Мне что, взять её и мучительно с ней погибнуть?! Я с ней с ума сойду, а потом и повешусь, что навредит ей тысячекратно. А вот про вас я слышала; ей при вас будет лучше… Небо свидетель: я каждый день молюсь… Дай вам Бог жизни долгой, светлой, духовной! Если случится всё же без вас ей быть, ей безумие станет родом спасения. Будьте с миром!

Грешная по́слушница Берсенева».

Дана плакала и стенала, не понимая, что́ с ней творится.

Бог ей менял состав, учиняя особенный, избавлял её от адамовых падших действий и помыслов, искажающих истинность. Как недаром «*Христос бысть плоть*», так теперь в её теле слаб закон истребления Божьего, что слагало рай. В ней кончался вообще закон; в ней хирел процесс, изводящий жизнь в смыслы; в ней первородный блудный набег идей и лексем смирялся. И, как Христос, быв «*словом*», крестно распял его, так и в Дане, в коей великая похоть разума зачинала плоды свои, — в Дане разум распят был Божьим волением не ввиду патологии, что она слабоумная, — нет, в самой её сущности, в мозге мозга костей, в фундаменте, в квинтэссенции, в корне, в базисе пресеклась она быть греховною, так что атомы, что сходились в ней в падших ракурсах, вдруг замедлились и назад пошли на эдемские статусы! Как стоял её дед досель на столпе своём голой праведной верой, всячески битой гордой историей, — так она восставала вдруг на историю. Бог снимал с неё родовое проклятие жаждать хлеб или воду. Он её Сам кормил, согревал и берёг, являя ей, что суд гордого и учёного разума есть не Бог отнюдь. Ибо Бог выше мер и логики, постулатов и форм, также сил и начал с престолами. Ибо Он шире разума, мнений, смыслов и слов людских, а в придачу и хлеба. Бог есть ни цифра, ни строй, ни норма, ни нуль, ни равенство. Бог никак не слуга законов, кои творят «*сей мир*» математикой, ображающей Жизнь в невольницу. Бог не смерть и не жизнь; Он не есть даже Истина. Он ничто в существующем, всё — в ничто. Он постижен в незнании и в нечувствии; Он не в ясности, но в предельной неясности. Он открыт не искавшим, ведом не знавшим.

Коротко, Дана стала у-Богой, можущей жить в затмении, что другим — нестерпимейший свет. Бог спрашивал: «*Кто со Мной?*» — и увидел верное сердце.

Дану искали, как вифлеемских древних младенцев. С первым морозцем были врачебная с полицейской группы. Дану выкрикивали в Щепотьево, состоявшего из избы под инеем.

Но она их не слышала, устремлённая вниз по Лохне, или Фисону, в вечный эдем… Конвульсии первородных грехов свалили её в разлоге; там Дана мучилась, чтоб нестись после к станции, сесть на поезд и, плача, что едет «к маме», быть под Калугу, к женской обители, где её не желали знать; а потом, в слезах, мчать в Москву и, бродя там неделями, оказаться в конце концов под ночным дождём возле здания, за каким текли Ленинградским шоссе под фарами реки трафиков в эру дерзостных жриц любви, гуляющих по обочинам в сексуальной хайповости. Дану кликнули.

— Отхомячилась? — бормотнула высокая, с накладными ресницами и ногтями дамочка.

Дана молча стояла, не понимая.

Дамочка, к ней приблизившись, отвела свой зонт и спросила: — Ты мокрощель, смотрю?

— Мокрощель я, — вторила Дана. Странность её прикрывали сумрак и дождь.

— Впервые?

Дана молчала.

— Возраст… двенадцать?

— Да.

— И есть презы?

— Да.

— Покажи мне.

Дана явила обе ладони.

Дамочка прыснула. — Этим вату катать, дурища. Шла бы ты к маме.

— К маме не надо. Мама не хочет.

Дамочка мыслила вслух раздумчиво: — Всё равно ведь начнёшь когда… Ты, скажу, не ахти собой, но девчушечек любят… — Пальцами отвела она Дане мокрую прядь со лба и дала ей большую с хрустами пачку. — Ладно, айда со мной. Нас имели, имеют, будут всегда иметь! — Она прыснула и пошла вперёд… При огнях шоссе она в Дану всмотрелась, но было поздно: чёрный сверкающий лимузин подплыл; из задней двери послышалось:

— Girl, приблизься!

Дану привлёк к себе суетливый и лет под сорок, с пейсами из-под шляпы чёрного цвета, маленький человечек; взглядами Дана встретилась с пассажиром вторым, огромным, коротко стриженным и седым, как лунь. Круглый маленький суетливый тип задирал ей куртку.

— Вы, босс, не против? Вы меня наняли, — он трещал, — для дела, и мне угодно вас испытать. Озлись вы, нравственно оскорбись, вцепись в моральные-де устои, то есть запни вы здесь мою прихоть, — я не смогу вам верить. Вдруг, потеряв сто тысяч, вы пожалеете, — где тогда мой процент? Я был адвокат из дошлых, и я навиделся, как ломалась судьба! Проводят курс, что сулит преференции, и пасуют вдруг. Типа, шёл ты, шёл и — бабах в дерьмо! Либо кто-то вдруг Моцарт стал, а утюг подле нот забыл, и нет Моцарта: спёкся, ноты сгорели. Ровно как я, пардон, в девяностых был VIP-ом и нуворишем — нынче наймит у вас. Я, причём, не сошёл с ума, не утратил ни смётки, ни интеллекта. Но!! Я постиг вдруг… — он взял хрустящую пачку Даны из её мокрых маленьких рук. — Я понял, что сей разумный, нравственный мир наш — только каприз. Мытьё наших рук — каприз, блажь, вычуры, а обычное — чтоб они были грязные. Ибо истинен не прогресс культуры, но чтоб, к примеру, гордый Нью-Йорк с Москвой были в прахе, как древний Мемфис либо Афины; пыль чтоб всегда забивала лёгкие; чтоб гавно с мочой вечно пачкали стринги. Также, босс, истинно — что Лас-Вегас с рулеткой вас обанкротит. Истинно — что порядок и разум суть в испражнениях. Сходно истинно — что как раз мой каприз над всем. Я теперь это понял. Раньше я — Ройцман — горних высот искал, непреложнейших истин. Всё в цицероны мнил. Умный мальчик еврейский, я о себе был мнения!.. О, я искренно думал, что лишь случайно Богом не сделался. А в итоге взыскательный мальчик Ройцман… — он сжал немеющей Дане ногу, — вышло, затем рождён, чтоб сыметь эту девку и улететь к чертям с вами в пошлый Лас-Вегас с глупой затеей как ваш доверенный и слуга… — Он фыркнул. — Девка пустяк, причём! Девка, может быть, путь для нас, чтоб, как все в свой час мы из девки низверглись, — снова вошли в *неё*. Да, вошли с головой, с ногами — и всё, мы в истине! — Он стал хлопать Дану по заду. — Я завожу себя… Я от девок страдал всегда. Им дай стройных, высоких, а не пузатых… Девки тупые… Вот за всех девок эта шлюшонка мне и ответит! Прежде Лас-Вегаса въедем в чёртову девку через врата её и в ней кончимся, — бормотал он, щупая Дану. — Где же врата в тебя? Что же Ройцман в случайной уличной девке снова познает, как ему велено во священном Писании: «*И познал Адам Еву*», — что Бог Израиля вроде как запрещал, но исподволь провоцировал?.. Вам претит, босс? Полно, расслабьтесь! Это лишь шалость, эратикон такой чисто гётевский! Флирт, амуры, интрижечка!.. — Он ощупывал Дану. — Грязно, скотливо, Павел Михайлович? А вы — чище? Знаем мы, как за день суммы падают и за что, как вам. Эти семьдесят лямов — в дар вам от друга-де? от Георгия Маркина? Ой, лукавите!.. Ну-ка, что там имеется?.. — Он, водя рукой,

резко дёрнулся и воскликнул вдруг: — Прочь, мутантка!!.. — После он выпихнул Дану вон. — Кошмарно… Там ничего нет! Павел Михайлович: у неё *ничего*! Нуль! Nihil[1]!!..

Их лимузин поехал. Стриженый и огромный, в смокинге, пассажир изрёк: — Не вышло? Вновь «*не познали*»? Вот вам и крах, дельцам, вашей дерзкой особости; а за вами и миру крах.

Встало в Дане Щепотьево, и она на другой день, утром, вдруг обрелась там, в дедовом доме, скрывшемся вскоре в белых сугробах, как и разрушенный красный храм (припомнила, «Вознесения»), что свистел в ветрах километрах в пяти от видимых лишь дымами сирых селений, но от неё — в ста метрах. Дана измучилась. В ней пошёл ход к неспящему, ведь она пробудилась; но и к беспамятству, ибо помнить ей нечем; и к неядущему, раз обмен веществ в ней закончился; и к немёрзшему, ибо Дана не видела в стуже тягот; и к недающему плотью тень, ведь атомы в ней распались; и к неболящему, раз болит, лишь чтó познанно; и к лишившемуся рассудка — склада библейских гибельных ценностей. Зиму Дана не ела, сходно не думала и не знала потребностей — но жила-таки. Плюс влагалища у неё, — как выяснил, помним, круглый пейсатый маленький Ройцман на Ленинградском ш. в лимузине, — не было, дабы махом «*познать*» её, а «*познав*», разложить по полочкам. В человечестве взялся третий род. Бог, Творец всего, возводил её в *новое* по Своей благодати, с ней не советуясь.

В мае Дана открыла двери избы своей — и вошла в верезг птиц, в ярь солнца, в зеленотравье, в запах черёмухи, в свистопляс одуванчиков. Обнажённая, она скрылась в полях на склонах, где не пахали и где взрастала в пении жаворонков иная жизнь, первозданная. После Дана купалась в искристой Лохне, где отражался рай, и ждала подле норок местных лисиц с лисятами, а потом отдыхала в сумраке сада, чувствуя сущностность. Что бы Дане ни встретилось — ликовало. Бог наполнял её…

И была она далеко; маршрут её невместим… Вернувшись, встретилась с чудом: храм Вознесения, прежде никший в руинах, внове отстроен был вплоть до кружев креста! Охранник впустил её в сполох золота от окладов икон, в сияние царских врат, в синь фресок, в музыку купола. И, пробыв там ночь, обнажённая, акварельно-прозрачная, Дана скрылась опять в свой дом — единственный из исчезнувших деревень, чьи титулы оказались вдруг на столбах с табличками: «с. Щепотьево», «с. Чадаево», «с. Рождествено», «с. Никольское». Просмотрев вещи деда, в ночь Дана вышла плакать к кресту над ним на лугу перед Лохною и к поваленному столпу. Затем она понеслась в Мансарово, и лисицы неслись за ней вместе с совами и прыгучими зайцами вплоть до новых чуд. Храм мансаровский тоже цел, обнаружилось! И разрушенный храм в Тенявино воздымал кресты пары маковок белоснежного цвета!

Бывшее Бог содеял небывшим, Дану любя.

2. Единое на потребу

В джипе, катившему на курорты трассой «М 2, юг», дымной и шумной, речь шла о женщинах, хотя зной стоял утомительный, не спасал и кондишн. Сзади был человек лет в тридцать. Спереди, пассажиром же, был толстяк, улыбавшийся репликам, сильно пахший парфюмом. Задний, как младший бодро вертевшийся на пейзаж окрест, после Тулы свитийствовал, увидав проституток возле обочин, что он бы «снял» одну.

— Представляете, мир сорвав, насладиться им!

— Расплатиться и бросить, — с ходу продолжил тему толстяк, — как выпитую бутылку. Некто заметил… кто, я не помню: в женщине тайны нет… Ишь, «мир сорвать»! — ухмыльнулся он. — «Мир», по-твоему, в особях, что от голоса тенора получают оргазм? Мне нравится Геродот, ворчавший, что континенты: Азия, Африка и Европа, — женские именем. А записчики от Христа «троичную» ипостась исправили в «Дух Святой», хоть сам Христос на родном арамейском «Дух Святой» нарекал как женский. Вспомните суетность, в кою сводятся грёзы

[1] Нуль (лат).

женщины: топ-модели с ногами до крашеных пухлых ртов, блондиночки с куцей мыслью в мозгах о тряпках и с собачонкой в сумке от Prada. Барби — вот уровень, до какого взбирается женский род! Взять, сгинувшие три дамочки, — СМИ шумят о них день и ночь: певичка и олимпийка и всем известная стерва-спикер, — сгинули просто так? Не просто так, но за шашни в чуждой им сфере, я полагаю, в сфере мужской, разумной. Пусть я женат, твердить готов: всё, что им позволительно, — холить плоть. У женщины нет души, нет разума.

— Так, — изрёк ведший джип и, вроде бы, сорока лет, правильных черт лица, бесстрастный и сухощавый, плюс в безупречном сером костюме, в серой рубашке с галстуком, человек.

— Сэнсэй Разумовский, — задний задорился, — свет прольёт!

Оба смолкли — выслушать знавшего двадцать пять языков, способного всякий факт, коль нужно, обосновать со ссылкой на философские, дискурсивные и научные выводы. Он умел вести доказательства лишь цитатами: от Фалéса до Канта, Юма, Батáя, Пирса, Монтóмери и так далее. Трое были сотрудники Института социо-философских опытов и прогнозов, где Разумовский вёл то ли сектор, то ли отдел эвристики, кибернетики и подобного, плюс работал во ВШЭ (а полностью — в «Высшей Школе»-де экономики).

— Так, — изрёк он. — Женщина — нонсенс. Вот вам свидетельство: яйцеклетку недавно слили из спермы, что подтвердило второстепенность и производность женской природы, женского вообще феномена. По Платону, первое существо был некакий андрогин, решивший оформить женское; то есть женское в андрогине вдруг вознамерилось быть субъектностью, — подчеркнул он. — Вспомним апокриф, тоже затрагивавший вопрос полов применительно к смерти: «*Ева в Адаме, не было смерти. Как отделилась, сделалась смерть людей. Если Ева войдёт в него, если он её примет, смерти не будет*». Женщина, ergo, — нонсенс, деструкция, крах, regressus, не человек в существенном, кардинальном, конститутивном, определяющем высшем смысле.

Задний насмешливый пассажир пофыркал. — Жизненно важный тип, я замечу, эти фемины. Как без них и куда?

— Тип, — вёл Разумовский, — периферийный. Деторождение не столь нужный акт… — обогнал он плетущийся в горку трейлер и завершил мысль: — в нашу эпоху. Мы исправляем функции мозга, мы заменяем свитчами нервы. Мы близ исхода мыслящей и вообще живой биологии в машинерию чипов, модулей, блоков и, продолжая, самонастраивающихся к действию и себя обучающих схем, устройств и платформ. Природный же человек у финиша; он обочь парадигм развития… — Говорящий прервал себя, обгоняя замедливший резко трафик. Кончив манёвр на скорости под сто двадцать, он чуть не сбил, задев, мужика, пошедшего через трассу, пьяно шатаясь.

Ехали молча, прежде чем струсивший покрасневший толстяк свёл к шутке: — Пьяни везёт, друзья! Он не знал целей гения и отца супермозга, доктора трёх наук, блестящего Разумовского, что отводит цифири жизнепространство даже убийством мерзостной плоти. Ибо всемирный биоценоз в сих целях должен быть изведён вполне; русский комплекс, — инертный, косный, нетрезвый, вялый, дурной, — тем более.

Разговор свернул на Россию, чтó-де и как она, почему тормозят реформы и отчего пьянь, мерзость, грязь, тупота, инерция и коллапс регламентов. Когда пахший парфюмом бодрый толстяк сказал, что, мол, немцы после войны отладили быт галопом, мы же неспешно били баклуши ладно натуре, что и прекрасно, то Разумовский начал полемику. Ибо он не со зла, признался, чуть не угробил пьяного пентюха, кой поплёлся по трассе, нет; но, сам русский, даже и чистый, разумом он Россию чтил весьма и желал, чтоб её ВВП рос, это во-первых; чтоб дураков изгнать и дороги улучшить, это второе; чтоб государство выстроить в духе честных, разумных и прагматических высших ценностей, это главное. Он был против режима, губящего страну, рассказывал о внедряемых, — вместо прав и возможностей, адекватных эпохе, — принципов и общественных вкусов «века Кижé». При знаниях, выходящих за рамки только России, он

слыл учёным универсальных пролиберальных идеологий, что и способствовало карьере. Он прогнозировал тренд развития; если нужен был вывод по философским, мировоззренческим прогностическим темам, то обращались к нему. Труды его направляли биотехнологов, кибернетиков, математиков, физиков, у которых per se[2] нет родины. Его звали работать в центре стратегии и AI-технологий при Пентагоне, вместе с прославленным Б. Н. Чейзвиком. И, хотя он имел здесь средств много меньше, чем был достоин, он в ней остался, в странной России. Может быть, оттого что мечтал претворить себя в вымирающей шири, где бесконечно жили в беспамятстве от былого и где от мысли до мысли пять тысяч вёрст — а значит, где в преизбытке места идеям? Космополит, он слыл патриотом, не потому что хватил своих, но умнó и резонно дискредитировал верхоглядов. Произвела фурор «Апология тьмы египетской». На доктрину, что-де «закон» (строй, нормы, этику современного бытия землян) начал древний Аврам из Ура, верой, мол, двинувшийся «невесть куда» и обретший там правду (дабы позднее Климент-церковник счёл философию воровской, сочтя, что она, «позаимствовав у еврейства истину», «отнесла её в свою собственность»; а затем Татиан-писатель выдвинул тезис, что, так как праотец старше греков по времени, то ему и почёт за тех, «кто, украв учение, не признались»; чтоб, вслед, Нумений-пифагореец продекларировал, что Платон всего-навсего Моисей по-гречески), то есть с Библии быть пошла философия и культура с цивилизацией, — вот на эту теорию Разумовский спросил: не ясно, как «*отец веры*», бросивший якобы «*стогны*» лжи людской и укрывшийся «*в пу́стынь обетованную*», оказался в Египте не беззакония, но «закона», где он меняет Сарру-супругу, символ страстей, раз женщина есть стихия, и иудейское родовое невежество — на «закон» как раз в виде данных ему фараоном благ, таких, причём, основательных, что потом его внуки жили в Египте, а Моисей затем стадо диких «*колен*» своих наставлял по Египту же?.. Разумовский всегда ценил «черпающий в себе лишь» мыслящий разум и принижающих логику сокрушал. Поэтому, когда далее развивавший тему толстяк заканчивал: «Русским быть трудолюбами и активно трудиться? Не очевидно! Мы — племя рая, не совершившие первородный грех, о котором все знают, — то есть познание зла/добра! Считай, мы в раю поныне и надрываться нам, значит, нечего; мы не пали с Адамом, дабы горбатить „в поте лица“; мы — „лилии“ из евангелий, распрекрасные „лилии“, что не трудятся, не прядут, друзья!» — Разумовский прервал с ему свойственной прямотой, сказав, что сейчас мотивирует рассудительность и расчётливость в русских, вкупе со знанием ма́ксим зла и добра, наглядно, веско и внятно: первого, с кем столкнутся, — а это будет, ясно же, русский, — он обратит к порядку.

— Да. Так и будет. Разум обяжет, ведь очевидности убеждают, как только действуешь, принимая их. Взять хоть русскую тягу к водке, — жёстко добавил он и свернул к просёлку, что, средь всхолмлений на беспредельной с виду отлогости, полз, вихляясь, на запад, вниз.

Их «лендровер» прыгал в ухабах.

Двое примолкли: задний насмешливый молодой субъект и парфюмный толстяк смекнули: нечто затронуто в Разумовском.

Впрочем, и зной стоял нестерпимейший, чтоб не съехать куда-нибудь на пленэр с запруженной дымной трассы, ибо дорога вниз означала спуск к речке, судя по карте.

Солнце сверкало, зной умножался, а Разумовский, в сером костюме, в серой рубашке, правил к «*единому на потребу*», как называл он обоснование в русской расе ума и логических свойств не меньших, чем у иных, но бóльших. Доводов в этом экскурсе он хотел найти, кроме прочего, для своей эпохально важной работы, должной и разум вечным венцом венчать, но и жизнь вконец упорядочить.

Он мечтал о порядке, он ненавидел жизненный хаос. Он восстал на случайность и произвольность и предикат их «вдруг» с напряжением всех рассудочных сил. «*Единое на потребу*»

[2] По сути (лат.).

был ему разум, знавший законы. Мыслить суть быть, считал он, быть значит мыслить. Я живу мысля, он растолковывал; я живу не когда, скажем, ем еду, но когда отдаю себе в том отчёт. Мир — в разуме; и закон — строй, норма, мера, порядок — есть царь над всеми, смертными и любыми бессмертными, а поверх — совершенный логический алгеброидный символ, НЕОБХОДИМОСТЬ как неминуемая стена, не внемлющая молитвам, строй очевидностей, общепризнанных истин, вроде, что дважды два даст четыре, хоть ты убейся. Главное — уяснить ту стену и ей покорствовать, руша Deus ex machina, то есть блажь, прихоть. Главное — возводить на здравых первоосновах, коим покорствует даже бог (возьмись такой).

Бог есть логика, чистый разум, мнил Разумовский, рациональность, власть интеллекта. Он, как Цельс, лютовал, встретив тех, в коих вера не сводится к знанию, но враждует с ним, и мнил чудо палачеством и насилием над порядком вещей, над мозгом, автором космоса, для которого чудо точно плевок в глаза, в зоркость oculi mentis. Вот на таких людей есть оружие — диалектика, к коей нужно прибегнуть, дабы весь мир, склонясь, повторял твою истину как единственную, нудящую. Своевольным натурам, дерзким характерам, что опасны для разума, он готов был внушать закон: ты не веришь в смерть? — удостоишься казни, дабы уверовал; дважды два не четыре? — в кнут маловера, пусть исчисляет плети ударов; хаешь порядок? — в дом сумасшедших, дабы проникся жаждой порядка. Цель всех суждений, как и поступков, — в мысленной службе НЕОБХОДИМОСТИ, нет иных богов; и пока не стряхнуть с себя романтический вздор, не войти вполне в сферу чистых понятий — истин не сыщешь, не установишь. Если есть «Яхве», «Сущее», «Нус», «Идея», «Бог из машины», «Будда», «Христос» etc. — значит нет разума, что немыслимо. Есть лишь разум и сущность — НЕОБХОДИМОСТЬ, матерь законов. Надо любить ЕЁ. Человек — для законов, но не для жизни. Ищущий знания, разум чужд всякой жизни как произвольности; жизнь сведётся им в бытие по правилам. Люди станут не тело, не биомасса — но комплекс цифр. Зачем жизнь? И от бессмертия польза та лишь, если задуматься, что смерть портит oculi mentis — гидов по ясным, точным критериям, ведь умершему не внушить впредь должное. Мёртвый волен, самоуправен, как бы преступен… Впрочем, бессмертие — не для плоти, только для разума.

Бога нет, люди смертны, воля подсудна. Разум не смотрит, есть или нет душа: ему нужно, чтоб его слушали и ему не противились. Оттого Разумовский был, кстати, девственник и носил только мытые в спирте вещи. Гадится, оскверняется жизнь, не разум, лучшая наша часть, pars melior nostra. Вечные истины — не для жизни, что загнивает, и не для бога, мёртвого на кресте своём. Разумовский не знал (намеренно) «неклассической физики», посягавшей на догмы, модной с недавних пор, но per se исходящей из «дважды два четыре». Так, не иначе, — или нет разума, созидателя принципов. Допустить, что есть бог, сочиняющий истины, — значит мозг убить. Произвола не может быть; в этом случае стал бы «бог из машины», кто бы крушил закон, утверждающий: **то, что есть, — есть законно, необходимо, а не по прихоти**. Всё должно быть — разумно; бедствуют там лишь, где мало разума, в том остатке стихий, что клеймил он как «жизнь» и с чем с детства боролся. Бескомпромиссный, он отрицал жизнь. Разум обязан был жизнь убить. Поэтому в бойнях уличных кошек силами ДЭЗов либо догхантеров Разумовский усматривал триумф разума, лишний раз жизнь стеснявшего. Жизнь — не стоила. Разумовский боролся с ней. Если всё-таки отступал — не плакал. Да, не смеяться, сходно не плакать, но — **понимать**! Не плакал, только кривился, зная железно: истина ну́дит и убеждает. Неубеждающее неистинно. Быть в тепле убеждает? — значит, печь истинна. Стену разве пробьёшь лбом? — истинен сопромат. Смерть явна? — значит смерть истинна, не иначе. НЕОБХОДИМОСТЬ, если ты раб ей, радует. В чудеса он не верил. Он избегал «вдруг». Звался он «Кантемир» в честь Канта. Жизнь он не чувствовал, предпочтя чувствам — мыслить. НЕОБХОДИМОСТЬ, коя упряма и беспощадна, — вот что есть истина. Бог Иакова, Авраама, Христа? Чушь. Разум — вот бог реальный! Истинно — что для всех, что признанно, что внедрилось без спроса даже в ум бога, если тот был бы. В вере лишь дерзости: мол, хочу и лбом

сталь пробью. Чудеса отрицались им; бытие без остатка виделось в разуме, тайн не нужно. Люди уходят, принципы — вечны. Разве *они* для нас? Нет, но *мы* для них. Пропади homo sapiens — математика будет. Люди и боги — все склонят головы под чугунностью «дважды два четыре» (тщетно «подпольный» псих Достоевского фыркает), но не будет вовеки, что дважды два даст тридцать. Истина гнула и Парменида, и государства, знал Разумовский. Так, не иначе. НЕОБХОДИМОСТЬ в сём мире правит, и лишь смирение перед ней — свобода; смирным даёт она. Рок согласных с ним водит, дерзких рок тащит. Набожным он советовал иллюстрировать веру прыганьем с крыши. Если потребна публике церковь — пусть это будет Храмина Разума, где священник Сократ. При всём при том, Разумовский уверен был: философия не должна творить без достаточной базы, Что философия? — калька, образ, прислуга НЕОБХОДИМОСТИ, плюс рентген её и оглядка, пристальная, покорная.

Он, живя в категориях, в коих мыслил, требовал, — от себя самого, естественно, — чтоб в любом его слове, жесте и действии утверждалось: **жизнь исчислима, как математика**. Он из частной конкретики ладил стать отвлечённостью, парадигмой всеобщности, избывал «патологию», точно Кант, поставлением перед самостью виселиц. Он хотел и себя слить в принцип, став отвлечённым био-понятием. Люди — вздор; сущность — в Разуме. Он писал «Обобщающую бионику» эры киборгов, электронных людей, компьютеров. Род людской исчерпался и прекращается, мнил он искренне, понимая инертную, пропиту́ю Россию ярким примером. Женщину тоже мнил он ничтожным — тем, чья роль кончилась. Если он трактовал её, то отнюдь не как особь и не как пол тем более, но как просто органику, днесь почти что ненужную. Времена грядут переломные! Разумовский стремился к ним, не жалея себя ни прочих в этой ползущей в хаос вселенной, ведь на иное жизнь не способна. Он изводил жизнь в разум, мысля логично, что, если разумом всё пошло быть, им и венчается. Он тропил тропы **Разуму**. Он искал неизменный и идеальный ordo-connexio многих rerum[3], невыносимый собственно жизни, как она есть, но — истинный, где случайность с капризом (и даже бог) бессильны, где правит тождество вещи — мысли. Он, воин разума, верил в благо порядка в той страшной мере, что проклял чувства. Стать частью строя — вот в чём задача. Коль мир порочен, то от незнаний. Цель — мир выстраивать математикой. Цель — забыв про бессмертие «душ» и прочее, обетонить всё алгеброй, дабы приняли, что такой-то — тридцать второй, такая-то — двойка с третью, то — сто девятое, а вон то — миллионное. Он сводил жизнь к формуле; одолев её в логике, он хотел жизнь избыть. Поэтому, что б ни делал он и куда б он ни ехал, мыслил разумно, целенаправленно.

Кусковатый асфальт тёк вниз, к селу, предварённому длинными, ряд за рядом, жилблоками, что продолжились древними, порознь, избами по-над поймой; сразу за ней, в холмах, был приземистый, эры Сталина, клуб; вразброс него — избы красного кирпича и церковь синего цвета. К западу, в трёх-пяти верстах, пойму метил другой храм, ярый от золота. На восток, вдали, у означенной поймы, виделись два церковных шатра с крестами. Сей преизбыток клерикализма был ненормален, но Разумовский, занятый мыслями, факт едва лишь отметил феноменальной пристальной памятью и свернул, чтоб, промчав мимо остовов от колхозных ферм, мимо нескольких изб в сирени, выехать к речке. Там он спросил у типов, рыболовящих с кружками пива, что́, мол, за место.

— Эта… Мансарово… На сожи́г? Едь вправо; будет сожи́г. — И старший из рыбаков зевнул. — У Лохны. Так, малый, речку звать. Всё акей, прикинь. Речка Лохна, ехай направо, будет сожи́г.

— Есть дело, — вёл Разумовский. — Кто вы, представьтесь.

[3] Связь-порядок вещей (лат.).

— Эта… Толян и Колян мы, — шатко встал старший, бросивши удочку, и, достав покурить из брючины, вдруг прикинулся деловым, нахмуренным, хоть икал с перепоя, пах перегаром и был в помятой рваной футболке.

Младший вдруг тоже встал, бросив кружку. — Мы эта… братья с ним. А вы кто?

Гость начал: — Надо поставить эксперимент. Смысл в том, что для жизни надобны деньги. Где их вам взять, Толян?

Тот курил и кивал, потупясь.

— Ваш бизнес плох, в руинах. Вон, вижу остовы: ведь от ферм?

— Разграбили. Тут чеченов тьма. Их Ревазов тут… Он, братан…

— Шовинизм, — прервал Разумовский. — Так что о главном. Есть здесь красивая панорама? Место получше?

— Есть.

— Залезайте, — кратко велел он.

Молча Толян/Колян влезли в джип. Отправились по просёлку… Минули две избы, овраги, чахлую пустошь… Выбрались на бурьянистый склон под солнцем, что был над речкой, где Разумовский, сняв пиджак и оставшись при брюках ниже рубашки, строго продолжил:

— Жду вас здесь с косами. Если ско́сите пять-шесть соток, дам двадцать долларов. Деньги — труд. Мы её очищать должны, нашу родину. Возражения?

— Эта… вытопчут. На сожи́г придут…

— Я сказал, — бросил гость. — Решайтесь. И, если выкос, символ порядка, здесь будет впредь с сих пор, дам вам доллары, тысяч пять. Согласны?

Он был серьёзен, строг и при галстуке, в серой с искрой рубашке от J. Armani. Он внушал пиетет.

— Слышь, скока рублей, те долары-то твои?

— Изрядно, тысяч под двести.

— Бле, завсегда, акей!

По одной из колей в бурьяне, сплюснутом джипом, братья ушли тотчас, обсуждая событие деловыми вскриками.

Москвичи оказались на косогоре, вроде над речкой, им пусть невидимой, но журчащей чуть ниже. Их берег пуст был и шёл отлогостью под высокими травами, изнурёнными солнцем. Пахло цветеньем; небо сверкало; пчёлы жужжали; воздух качался, пьяный от зноя; в мареве вправо мнилось селение и бредущая сквозь бурьяны к ним голова. Напротив, левобережьем, метрах в трёхстах, над поймой и на яру, над зарослями акации, были в фас три избы из древних: левая — красного кирпича и с каменными сенями; средняя — длинная, в штукатурке; правая, низкая, при сарае, каменная, опускалась в разлог, за коим, но на другом яру, отмечалось селение. Москвичи пили квас в бутылках, и Разумовский в этих трёх избах левобережья словно угадывал кадр фильма, то ли какую-то фотографию из докучных, назойливых. Впрочем, мозг забивать излишне, постановил он. Вскоре задумавшись над «этическим» Фихте, он не заметил, как оба брата, вновь появившись, косят от джипа косами вниз, укладывая в ряд травы, часто оттачивая два лезвия, ибо зной, затвердевшие стебли и муравьиные кучи быстро тупили их. Он вернулся в реальность, как только потный мрачный Толян сказал, чтоб они «не пульнули по ненароку».

— Тут пострелял один…

Чуть кивнув в знак того, что он внял чуши пентюхов, взяв за первую их «сожи́г», кой будет-де, Разумовский досматривал, как в бурьянном стоянии от усилий косцов оголилась прогалина и как просека изошла вниз, к речке, блещущей солнцем, так что возникла с виду площадка, годная для гандбольно-теннисных игр. Махнув косарям: «Кончай!» — расплачиваясь, он выделил резко вставшую в стороне в бурьянах, там, где не кошено, фантастичную, в перьях, явь под космами светлых пышных волос, вдруг двинувшуюся медленно, отчего разноцвет-

ные и обильные перья стали порхать. В реальности явь шла в бабочках: перламутровки, ио, морфы, нолиды и голубянки, белые с красным зорьки, жёлто-лазоревые зеринтии, адмиралы и траурницы в бархате, призрачные стеклянницы, махаоны, лимонницы, олеандровый бражник, совки, репейницы, мимевзе́мии, углокрыльницы, крупноглазки, хохлатки, бархатницы, чернушки, нимфы, капустницы, аполлоны, медведицы, подалирии и павлиньи глаза — обычное для российских широт и чуждое, всё мерцало, кишело и трепетало, переливалось, реяло, таяло, друг за дружкой взлетая и обнажая зыбкую в формах плоть. Три спутника созерцали зрелище. А затем толстяк процитировал:

— Узкоплечий, широкобёдрый, коротконогий и низкорослый пол мог прекрасным счесть разве что сластолюбец, мысль Шопенгауэра, вроде…

— Не низкорослый, нет! — вставил младший с восторгом. — Нимфа, напея… Полубогиня… Чудно, божественно!.. Вот что жизнь на природе!

— Жить на природе — значит жить разумом. — Возразив, Разумовский умолк скривясь.

Будь факт женщиной, мнил он, в качестве ясной, определённой, распространённой в мире реалии, о которой есть знания, он бы смог судить; но *что́* шло — избегало оценок из-за миражности и игр света. Бабочки чудились, — он внушал себе, — от жары либо солнца. Не было, кстати, пары косцов-пьянчуг, чтобы их расспросить о мо́роке: получив свои деньги, братья ушли бурча. Разумовский поправил правильный галстук. Так, всё… Стоп. Хватит… Нужно спокойно сосредоточиться. Солнце сдвинется — лучевая проекция исключит мираж. Это — явно «случайное», что являет не сущность, нужную разуму, но попутное, химеричное, зряшное. И он галстук расслабил. Ибо случайное оттого случайно, что есть лишь миг, не дольше; вроде как бог у всех во языцех, благо отсутствует… Разумовский забыл, что миг порой растяжим, а вечное мимолётно, и что в случайностях скрыто главное, коренное. Он видел девочку лет в тринадцать, с космами, в пляжных древних очках, обычную, исключая раздетость, зыбкую голость. И — махаон над ней… Она шла, будто их троих не было. Он признал, что она будит чувства, в коих стихия.

Первый встрял младший из москвичей: — Э-э… Девушка, сколько времени?

Та застыла под взбитыми клочковатыми прядями светлых длинных волос. — Не знаю, — произнесла.

— И вправду, знание вредно, — шумно вздохнул толстяк, отираясь от пота мятым платком. — Уверен, будь вы учёней, нам стопроцентно не повезло бы. Нам не открылась бы ваша прелесть.

— Значит, не знаете, вы решили? — вёл младший, пятясь, а после рыща пальцами в джипе. — Кстати, не ходят этакой голой, милая нимфа. Тоже не знали?

— Нет. Я не знаю ни А ни Бэ. Я дура… — Та подступила, и, кроме бабочек, что вились вокруг, да сияния, от неё исходящего, ничего на ней не было, также не было тени. Девочка зыбилась всей своей белокожестью с ванилиновым запахом. — Меня Даной звать, — вдруг добавила.

— Дана?.. — вытащил камеру из баула младший. — Я Тимофей… А, Дана, ты не могла бы, скажем, очки снять? — И, когда «нимфа» сняла очки, удивив блеском глаз, он навёл объектив, сказав: — Ты гордишься незнанием? — Аппарат начал щёлкать.

Шорох отвлёк их. Это приблизилась голова, что двигалась над бурьянами с той поры, как их джип прикатил сюда, и случилась художником, мешковатым, плешивым, в сером плаще, пусть зной был вокруг немыслимый. Не вступая на выкос, сделанный братьями, он, в траве по грудь, начал ставить мольберт, шумливо и неумело.

— Хвалишь незнание? — продолжал речь младший, глядя, как девочка навлекла очки на глаза. — Познание — долг наш, славная Дана. Мысля, я есмь. Ведь мыслить и быть — тождественно… Дана, дева-напея, мыслишь ты или нет?

— Ох, — с паузой был ответ. — Не думаю и не знаю ни А ни Бэ.

При смехе двоих у джипа и при суровой мине высокого, в эксклюзивной рубашке с галстуком дядьки, Дана прибавила: — Бог дал жизнь. Не слышано, что Он дал и знание. Разве можно знать?

Младший, делавший съёмку, замер. А Разумовский, выявив логику в подростковом нелепом, претенциозном, мнил он, юродстве и собиравшийся завершить спор вставкой «случайности» голой, зыбистой, в странных бабочках девочки на цветущем пространстве около речки в рамки логичных чётких суждений, чтоб оправдаться в неких волнениях, внешне, правда, не видных, но возбуждённых в нём, развернул аргумент:

— Хм. Знание ни к чему, да, девочка? «Без того я жива, эффектна», так, верно, мыслишь ты? Но, сказав «я не знаю ни А ни Бэ», ты призналась, что знаешь, что ты не знаешь их. Получается, знать возможно. — Выдав сентенцию, он взглянул на свидетелей правежа уверенно, со значением.

Дана, тронув лоб, словно думая, вновь сняла очки и спросила:

— Как знать язык ваш?

— Как знать язык наш? Не понимаешь? Но ты ведь русская? Явно, русская. Вот по-русскому и ответь.

— Наверное, вам ответ не нужен. Нужно, наверное, чтоб я думала, как вам нравится. Но в словах жизни нет.

— Точней скажи: жизни? истины? — уточнял Разумовский.

— Ох, — Дана молвила, всё с рукой у лба, на которой сидели бабочки. — Вы, реши вдруг: знать невозможно, — вы бы сказали, что, кто заявит: «Нет, знать возможно», — знал бы вдобавок и невозможность знать. Об одном и о том же — разное. А на ваш вопрос… Можно знать или нет? Спросили вы, так как знаете? Получается, можно знать и не знать, раз спрашиваете, чтоб знать. — Она улыбнулась, тихо добавив: — Ох, я не знаю ни А ни Бэ.

Все смолкли.

От стрекотаний звонких кузнечиков, от жужжаний слепнéй вокруг, от дурмана цветов, от бабочек на плечах «напеи» и от насмешливых «А» и «Б» её, от наивности доводов обнажённой селяночки, Разумовский, сказав: — Хитры твои А и Бэ, увёртливы, — потянулся за пачкой и зажигалкой, а закурив, опять повёл: — В школе учишься? Ты вот это вот — «об одном и о том же разное» — где-то выучила[4]?

— Не помню, — молвила Дана. — Учат не правду, а как все выдумки прясть друг с дружкой. Выдумки мёртвые. Я не знаю их… — Говорилось всё медленно, точно Дана подыскивала слова. Глаза её были странно восторженны.

— Мне, — вскричал толстяк, — импонирует, как она валит наш логицизм, друзья!

Разумовскому кстати был вдруг вмешавшийся в спор толстяк, треск рухнувшего мольберта горе-художника, вслед за чем тот проплёлся вяло на выкос, где вознамерился рисовать — скорей всего, три избы за речкою. В стороне, на их береге и чуть выше по склону, взору открылся некто шагавший в длинной хламиде, к джипу спускавшийся, а бубнявый галдёж вдали обозначил движение — тоже к джипу на выкос — давешних братьев.

И Разумовский разом постиг *вдруг*, — он не любил эти *вдруг* мучительно! — что ему лучше ехать, ехать немедля из аномальной глýши с нудисткою, с тремя храмами на полсотни селян-пьянчуг, с живописцем-профаном, с дурнями-братьями, ну, а главное, с идиотской полемикой, в первый раз за его сорок лет бессмысленной, не несущей триумфа и оскорбительной. Обнажённая привела на ум древний спор, где Сократ пререкался криками, показав, что победная философия быть должна принудительной… Не уехав, однако, он с сигареты пепел стряхнул, сказав:

[4] «На слово есть и обратное», мысль скептиков.

— Математика есть закон. Железный и непреложнейший. Дважды два есть четыре, а не один, не двадцать.

— Может и пять быть, если одна лиса с лисовином, — голос потёк в него, — вдруг родит никого почти, а вторая родит лисёнка. Сло́жите — будет пять по цифрам.

В данином сердце счёт был иной: величилось, чем гнушались.

Все разом прыснули — плюс Толян и Колян, признавшие, что «Данюха такая, бле!» Их везло в жаре, и они восклицали, взмахивая бутылками: — Счас сожи́г глядеть!

— Не хитри с математикой, — произнёс Разумовский, мысля, что делать. Опыт, кой ставил он, пьянством братьев-косцов закончился. И с нудисткой крах. Если он не возьмёт верх, сложится, что в логике цели он прикатил сюда, но случайность бзикнутой девочки завлекла его странным образом… Это было чудовищно. Интеллект его мыслил денно и нощно, как акцидентность, сколько ни есть её во вселенной, дать неслучайностью, тем избавив жизнь от «чудесного». Для него человек был факт обобщения, — стало быть, разрешён уже, объяснён и раскрыт, изучен, классифицирован и разложен по полочкам, и он ждал, чтоб селяночка вставилась в отведённое место.

Дана, надев очки, наклонилась к былинке; бабочки взмыли было в тревоге, но успокоились.

— Дважды два?.. — Это вымолвив, Дана сдвинула к прядям спутанных светлых жёстких волос дужки тёмных очков своих выше искристых экстатических глаз.

— Естественно. Дважды два сказал. — Разумовский держал сигарету в пальцах бескомпромиссно.

— Две вот такие точно былинки мы взяли дважды, да? — подняла она пять былинок ещё. — Их шесть. Смотрите. — И улыбнулась.

Выслушав, Разумовский следил сперва, как художник мазюкал кистью в мольберте, часто сморкаясь. После увидел, как приближается к ним монашек в выцветшей рясе.

— Просто с законами? — посмотрел он на Дану. — Ты, вероятно, даже летаешь? Что гравитация для незнающей девочки? Как с «*не хлебом единым*»? В смысле, нужно и дух крепить, жить разумным познанием?

— Да, тот «*хлеб*» — из Евангелья. Мне мой дед Серафим читал… Да, «*не хлебом единым*»… — Дана помедлила. — Я не ем.

— Не жрёт она! — закивали косцы. — Всамделишно! Это тут с радиации, а она из Чернобыля. С радиации пьём к здоровью… — И оба сели на пиджаки свои подле джипа на выкосе, продолжая вздор: — Водку пить с эНЛэО велят… Тут зелёные эНЛэО. Грибы ещё псилоцибики, — с эНЛэО они; вот в дожди и зачнут расти…

Игнорируя бред их и безразличие к голой Дане, явно знакомой им, увлечённый догадкой, кончив курить, задумчиво Разумовский бросил: — Все не едят у вас?

Старший — вроде Толян? — похмыкал. — Эта… едят тут все. Псилоцибики — с эНЛэО в Мансарово. Там акей у нас. Взять, Дашуха, жена моя, эта жрёт всегда. Данка — дура с Щепотьево. Вот она и не жрёт, прикинь. Что ей? Дура щепотьевская не жрёт… С Щепотьево… У нас нет тут дур. Тут нормально… Сожи́г, прикинь!

Трое спутников после этих слов по-иному восприняли необычную Дану, вникнувши, что она, может быть, не слышит, что́ говорят ей, и отвечает, как стукнет в голову. Объяснился восторженный взгляд её, нагота, шесть былинок в её кулаке и бабочки, близ неё мельтешившие, плюс лохматые и густые, цвета соломы, длинные пряди, плюс неуместные, старой моды, очки. Подумали, что она, как шавка, ищет внимания и готова пристать к ним. Младший, до этого с ней заигрывавший, остыл. Парфюмленный же толстяк, поникнув, ни для кого, вполголоса грустно выложил:

— Идиотство мужчины куда ни шло по его сверхзадаче в разуме и по дерзости войн с природой. Ницше, к примеру, спятил прекрасно… Что же, сражался, знал, за что: за возмож-

ность, — нравится образ, только не помню чей, — «древо Жизни» к земле пригнуть. — Он вздохнул и прервал себя. — Да, сражался-сражался — и проиграл. Естественно, с точки зрения битв с природой; разум ведь делан и неестествен… — Он, из кармана брюк вынув блистер, выдрал таблетку, чтоб положить её под язык. — Зной… сердце… — прокомментировал и продолжил: — Но идиотка — эндшпиль разумным; знак, что без разума жить возможно. То есть рожаем сонмы кретинов — и проживут вполне; и, по их ощущениям, лучше всяких нормальных, гляньте на Дану. Может, заменят нас, хомо сапиенс. «Мыслю значит я есмь» Декарта, стало быть, глупость? Разума, кратко, власть нестабильна и не щедра на счастье? Может быть, видимость, что творит он потребное для действительной жизни? Ибо приходит дурочка Дана и не нуждается ни в делах, ни в лифчиках, ни в идеях, ни в нормах, ни в идеалах, сходно во времени, обитая в беспамятстве без ума счастливая, и рожает не смыслы — а, дьявол, тех плодит, кои нам по рукам дадут, дабы мы «древо Жизни» их не коверкали. Идиотка, выходит, — он растирал грудь, морщась от боли, — порка для Гегелей, дабы разум отставили, дабы впредь не в него смотреть, в наш блистательный разум, точно в толковник, но окоём смотреть, в мать-природушку. — Он вздохнул и влез в джип. — Душа болит…

— Счас сожи́г! — встряли с криком и отпивая каждый с зелёной толстой бутылки «Тютчевки»-водки братья-пьянчуги. — Счас, акей!

Разумовский, рассержен диким, абсурдным словом «сожи́г», заметил, кроме монашека в бурой рясе, кой сел на выкосе, и художника при мольберте, здесь рисовавшего больше часа, множество к выкосу направлявшихся: старика с клюкой, двух юнцов, стайку женщин и разновозрастных разночинных мужчин. Толпа почти собралась.

— Сожи́г пришли зыркать в Квасовке! — братья громко долдонили, и рефрен их, схожий с назойливым криком птицы в знойный томительный день, бесил.

Достав пиджак, чтоб набросить на Дану, рядом стоящую, белокожую, несмотря на зной, Разумовский, — как прежде думал, что где-то видел те на яру три дома, — смутно гадал теперь про название «Квасовка», сознавая факт, что его безупречная, образцовая память не реагирует, оттого что он *сам* ей велел когда-то не вспоминать три дома по чрезвычайному, видно, поводу. Глянув в сторону принакрытой им итальянским сукном и в тёмных очках селяночки, он спросил: — Так. Девушка из Щепотьево? — И, как только Толян, икнув (а возможно, и брат его), что-то буркнул под нос, опять спросил: — Что ж её не в больницу, если безумна?

— Дуру? Живёт пускай. Жрать не просит… Слышь, с радиации, из Щепотьево: Серафимки Чудно́го столпника внучка, всё на столбе стоял… У Мехметки Ревазова дура — скотница. Он придёт — ты его пытай. Тут чечен, слышь, орава, хочут мечети; но тут Михалыч наш… Самогонкой нас поят. Водкой спасаемся, этой… «Чючевкой». Чючев был наш поэт: Россию, бле, не понять, прикинь… — Объяснявший следил, болтая вздор, как проходят, здороваясь с ними, местные, среди них и чужие, — может быть, с города, что вставал вдали.

Тимофей, — парень с камерой, самый младший из спутников, — влез в салон, где уже был толстяк в поту, багровевший от зноя, слабо обмахивавшийся веером. Разумовский присел за руль и не знал, как быть. В пиджаке его и прижав ладонь к подбородку, Дана стояла и из-за треснутых тёмных линз смотрела, — вдруг на него, решил он? Так и случилось; только он произнёс:

— Одна живёшь? — как она подошла твердя:

— Рыбы, бабочки…

Разумовский безмолвствовал. Ибо Даны ему жаль не было, и жалел он другое. В Дане был дар; коррекция возвратила бы ей разумность, чем сократились бы сроки трудного утверждения мирового порядка, коему нужно, чтоб всякий частный сбой в общей логике был разыскан, кассирован, замещён, per se, новой «Даною», здравомыслящей, убеждённой, что дважды два — четыре. Факт недвусмысленный, что прорвавшийся в этой дурочке хаос сеет помехи: их испытали, кажется, многие, в том числе и друзья его и он сам, укрывшиеся в «лендровер»,

но и косцы-бездельники, коим дурочка есть образчик жить в праздности в «псилоцибиках» с водкой «Тютчевка», плюс юнцы в «адидасах», с виду развратные, что воззрились на грудь её и её изнасилуют, верно, нынче же. Разумовский, жрец разума, в должный час оказался здесь: лишний раз уяснить вред частности и исправить сбой.

— Дана, — он предложил. — Поедем.

— Да, — приняла она и ладонь опустила от подбородка.

— Ближний к нам Мценск, смотрю?.. — Он взглянул на часы. — Я сдам тебя в интернат. Со сверстниками быстро…

Дана попятилась.

Он полез, чтоб вернуть её, из «лендровера», но распахнутой дверцей с маху сшиб инока в бурой рясе, что плёлся мимо.

— Чёрт… Извините.

— Всё ради Бога. — Тот приподнялся и поклонился.

К церкви, к монашествующей в частности, к «воронью» то бишь, Разумовский питал презрение, усложнённое тем сейчас, что «смиренный раб Божий» снова «ущерб понёс», «пострадал», — уж в который раз: в сотый? в тысячный? в миллиард сто пятнадцатый? — от всесильного «князя мира», чем и воспользовался учить его этим «всё ради Бога».

— Я верю в разум, — рёк Разумовский.

Ибо с *их* «богом», бьющим народы — сонмы народов, чтоб оживить лишь Лазаря, то внушающим «*Град Земной*», то «*Небесное Царство*», он разобрался, слив «бога» в воду сказок-побасенок. Проще, «бог» клерикальщины, то услужливо добрый, то наказующий, — результат донаучного объяснения мира. Ну, а его бог — только законы, мнил Разумовский. Если и был «бог» в давние эры — то стал невольником «вечных истин» вроде главнейшей, что «всё рождённое умирает»; бог покорился им. Эти «вечные истины» суть законы, кои в сознании суть понятия. «Бог» давно уже — разум. Долг людей, осознав, что они не венец Земли, — отодвинуть библейского «бога» в прошлое. Имя прежнее — суть же будет иною. Бог станет Логикой, рядом цифр. Избыть произвол, блажь, норов, прихоть, капризы и непосредственность — высший долг людей. Человек лишь субстрат, подчёркивал Разумовский. Жизнь он считал энергией для идей и смыслов. Мёртвые впредь не значили, оттого не ходил он к месту покоя матери и отца; а также он не имел ни кошки, либо подруги, либо ещё кого. Он был строже Гуссерля, кто обвинил философов, что при них философия не была столь строгой, чтоб стать научною. Он считал, что, пока хомо сапиенс не усвоит факт, что как раз *идеальное* есть *реальность*, дело не сдвинется. Он считал, что вот-вот создаст **не хорошую** философию, дабы стать в ряд великих имён, **не лучшую**, дабы ряд тот возглавить, но — **безупречную**, у которой на всё ответ (игнорируя, что познание есть казнь замшистых, архаических истин свежими, в постоянности веры, что очень странно, в их непреложность). Он прибыл вовремя. Нет, не прибыл, точнее, но неизбежно, необходимо, в сроки, фатально, — *закономерно* то есть, — возник. Весь мир до него пух сектами, хамством власти, пьянством, развалом и уголовщиной; культы выдохлись в блеск обрядов, в казовость, в бутафорию. Но пришёл Разумовский. Ибо мир понял: надобно новое. Надо слово слить с делом. *Слово есть дело*, так… Рок философа — умирание, как Платон писал (ведь философ обязан сделаться Логосом); вот и он, Разумовский, к смерти готов вполне. Он считал: в целях разума род людской должен вымереть. Сонм идей потесняет плоть. А он жрец идей. И его достижением, его подвигом будет чистое **сверхмышление**, претворённое, дабы речь ему, как Христос Аквинату: «Bene de Me scripsisti» — «Славно явил Меня»[5]…

[5] Видение Фоме Аквинскому.

Но пока он не знает Высшей Идеи, выяснив, что она не сократовы «добродетели», кои тешат себя единственно, не платоново «царство истин», с коего мир копируют, не «суждения априори» Канта, сдавшие разум этике. Ей не быть, в числе прочего, гегельянско-марксистским вапленным бытием, трактуемым и плодо́м мышления, и его же творцом. Нет, истина — вещь в себе и должна, как солнце, нудить всех щуриться, поражать должна, быть в чудовищный, острый, едкий соблазн, взрывающий веры, мнения, догмы! околдовать должна всех in saecula saeculorum истинным МЕ́НЕ, ТЕ́КЕЛ, ФАРЕ́С (Расчёл, Сопоставил, Определил). Вот именно!

Но в финале истории Человека Живого и близ сверкающих триумфальных зорь Дигитального Человечества, когда он, Разумовский, лидер новации, стал радеть о деталях вроде селянки, дабы вместить её в строй грядущей формации; когда он вводил бога нового, — Электронную Логику, — вдруг чернец-старик прибыл с тезой того, кто мир бросил после кликушеских двух-трёх сценок с посулами, но объявлен «Спасителем»?! Не смолчав, Разумовский немедленно о своём кредо высказал и, пожалуй, с жары, плюс с затеи с косьбой вообще, плюс от странностей Даны жёстко закончил:

— Вы помолчали бы. В мире есть, что́ ни нам, «простым», и ни вам, «святым», не позволит сравнять его с транспортёром за гроб, старик.

— Вера умных есть змей в раю, — был ответ. Щуплый инок, вздохнув, вытер пот со лба полинялой скуфьёй, добавив: — Мимо в обитель тёк. Думал есть просить, да насытился… — Он прошёл к толпе возле берега и вскричал вдруг (так что другой старик, деревенский, что был обочь с клюкой, руганулся):

— Страшный час! Ибо надобен не покор князьям-иерархам и их велениям, будто сыплют нам истины, но смирение перед Богом — Богом Всемилостивейшим, Жи́вым, как заповедал Он, что придёт к неискавшим и к невзывавшим; как Он открыл, что милует, кого хочет, и всем по вере даст! Ибо знание — это зло в раю, где запрет был на знание. Бог не в мудрости, но в безумии! Не гордись, что умён, что пастырь; но, кто от веры, тот затвори уста, ибо сказано: мудрость мудрых отвергну. Умствуют — а Господь лишь ждёт, дабы с первым, в ком вера, мир уничтожить. Ей! нам молчать пора и в молитве и в разуме. От поганого дерева — плод дурной. И Саровский во пустыни домолился до брани и замолчать решил. Вере место дай, где досель был Псалтырь с Евангельем! Веруй Жи́вому, словно Бог с тобой! Плачь о Нём всем дыханием! Час грядёт, что ничто уже нам не в хлеб, не в воду — только бы Он предстал. Ей! воистину, не ищи словобога — но ищи Жи́вого в глубине твоей, где царит сумрак веры, где несть законов, разума, знаний! Будь полным в вере — и Бог найдёт тебя. Ей! не в разуме истина, но в сердцах! Крича молись — и грядёт Господь! Не замедлит к взыскующим, но презрит маловеров Тот Всемогущий, Кто из ничто может всё создать! Будь же всяк в полноверии, но в таком большом, что́ апостолам не далось никак, ибо кабы случилось, Бог был бы с нами!

Трое у джипа, люди и Дана под пиджаком приезжего — все монашека слушали.

Между тем на другом берегу, к раките, стывшей над травным мысом речушки, с яра спустился вдруг человек, остриженный, в форме хаки, в чёрных перчатках и молодой. Помедлив и оглядев толпу за журчащей водой на выкосе, он извлёк, присев, зажигалку. Миг спустя знойный день вспыхнул пламенем, что трещало, ярилось и куролесило. Подле трёх домов на яру вверху появилась машина с сопровождением; там была и полиция на трескучем «УАЗике». Инок был игнорирован; а художник стал спрашивать старика с клюкой, на вопросы ворчавшего; а Толян/Колян (различить их непросто), пьяные, поднялись с трудом и, шатаясь да падая, вниз по выкосу взяли к берегу, прокричав:

— Михалыч! Вот, сам Квашнин, акей! Прикатил эта… в Квасовку! Счас сожи́г пойдёт!

От машин, замеревших против старинных трёх изб на выступе, к речке тропкой спускаться стал (как до этого молодой сходил) при баульчике белоснежного цвета рослый мужчина, ширококостный, в смокинге с галстуком типа бабочки. Вслед, с опаской, нетвёрдо, боком спол-

зали: низенький шаровидный семит при пейсах и в чёрной шляпе да в лапсердаке плюс тип в костюме синего цвета, служащий банка.

3. Странный «сожи́г»

Фамилия всё в одно свела. Разумовский припомнил, чем вид трёх изб на выступе был знаком ему, как название «Ква́совка». Слабость памяти провоцировал тот курьёз, что спускавшийся с яра в тальники, на косу затем и к костру индивид весь в белом был Разумовскому отвратителен как пример слов и действий пагубных, вредных, недопустимых.

То был Квашнин П. М., завсегда́тай таблоидов. Его жизнь поражала, обескураживала толпу. Рождённый в пятидесятых, рос он в в/ч, в окраинном гарнизоне при авиации. Все подобные связывали жизнь с армией, становясь по отставке чаще сидельцами по медвежьим углам. Ему «повезло», он в армию не пошёл: жена унаследовала квартиру, так что закончивший на востоке где-то филфак — «отстойник для бездарей» как сейчас, так в советское время, бодро шутили, — он стал москвич. В Кадольске вблизи Москвы поселились родители Квашнина с ещё одним сыном, дегенератом. «Мученик и наследник», как уточняли СМИ, «родового проклятия» — сумасшествия с пьянством (в «ВЂдомостях» строчка, что, мол, из посланных за границу «*страшнаго росту Квашнин Иван умерщвлён по пьянке*»), данный Квашнин П. М. «подвизался в НИИ», взяв статью (рост гренадерский) и родословием, поставлявшем двору царя всевозможных сановников. Его дед был расстрелян НКВД при Сталине. Но, впоследствии, в триколорной России, всё изменилось: барство-дворянство стало престижно… Чем занимался славный филолог? Древним наречием (чтоб не знать конкуренции, ибо рядом работали знаменитый Б. Б., член-корр сейчас, и великие Кох и Вырубов?). Кандидат наук (к. ф. н.), он стал мелким начальником (завотделом? завсектором?). После, выдавлен из НИИ, мытарился, пробиваясь торговлишкой. Старший сын его в девяносто четвёртом вроде в Чечне пропал, и с тех пор у жены его — у него, впрочем, тоже — прыгала психика. К девяносто девятому он кончался от рака… Судеб подобных, коротко, пруд пруди: жил и умер в безвестности… Но, однако, не умер он, а, напротив, завыли СМИ о «Помешанном Монстре» и «Олигархе», как стали звать его. Оказалось же вот что. Спрятавшись в Квасовке, получает он деньги, вроде наследство, и начинает свой взлёт, финансовый и общественный (лучше антиобщественный). Возвращается первенец, с плена вызволен матерью (сумасшедшей супругою Квашнина), плюс рак сдаёт, и Квашнин улетает вскоре в Лас-Вегас, где, на рулетке, раздобывает вдруг миллиард.

С тех пор он герой таблоидов. Он всегда в белом смокинге, на большом лимузине, при бодигардах; держит дворец в Москве, где живёт младший сын его; ну, а он подле Квасовки строит храмы; службы в них не проводятся; он их строит *не веруя*. Возрождает разрушенный в 90-х аэродром в Приморье (траты за $ 70 млн.); здания, вещи, техника (МИГ-17 и прочее), лозунги на щитах у плаца — эры Хрущёва, жителей нету, кроме охранников. Денег он не даёт ни детям, ни на культуру, но нанимает Осию Ройцмана, адвоката из бывших, за сногсшибательный гонорар. Вдобавок, он за услуги дарит любому сверхчаевые. Тиснул брошюрку, где объявил, что якобы «сей мир кончился», ибо он одолел «идеи, разум и смыслы до самой мелкой тощей синтагмы»; «мудрствованье выдохлось»; «аксиомы поверглись»; «близ — изначалие». Он снимал под рекламу всюду места — являть на них белый фон; скупал в периодике полосы — демонстрировать белое без каких-либо символов; на TV и на радио пять минут каждый день длилась тишь в белом поле. Он был издателем странных книг из пустых многих тысяч страниц без букв. Толковали про секту, провозглашающую «смерть слов». Он тратил, скоро уж год почти, уймы долларов. Интервью не давал. В отличие от бонз бизнеса, покупавших футболы, яхты, алмазы, думцев и акции, он казался безумцем. Где бы он ни был, там собирались энтузиасты вздорных, абсурдных, диких затей. Однажды он вопросил зеваку: «Что ты желаешь: вечность? богатство?» — и тот по выбору получил сто тысяч (американских), пачку за пачкой. Тщилась пощупать его «братва», не вышло. А появлялся он так: показывался «роллс-

ройс», Квашнин П. М. выходил, тесним бодигардами, рядом сын в форме хаки, в чёрных перчатках, в бронежилете и с автоматом… Очень эффектно! Шли к нему просьбы от прожектёров, дам, комбинаторов, ловкачей, каналий, но безуспешно. Слух ходил, что он дух Авраама-де, патриарха из библии, кой ему дал сокровища, чтоб Квашнин, мол, испытывал в людях веру. Столь знаменитый, он, вместе с тем, жил скрытно. Даже с супругой часто не виделся. Подле Квасовки (в Тульской области) он скупил сотни га вдоль речки, но не распахивал их, не строил там, исключая три храмика: Вознесения, что в Щепотьево, Положения Риз в Мансарово и св. Пантелеимона, что в Тенявино. Мимо Квасовки, коя высилась по-над поймою и была из трёх изб всего, можно было ходить бестрепетно, но подходы к калиткам изб пресекались «квашнинцами».

Разумовского, — кто твердил за древними, что «куют себе ненавистники разума исключительно бедствия», — этот тип раздражал, бесил. Он простить мог невежество, дурь и косность, но не хулу на разум и на мышление, ибо жизнь Квашнина и была таковым хулением. Разумовский питал к нему чувство личной вражды и стоял теперь здесь, на выкосе, маясь, что и кретинка, кою спасти хотел, отвернулась, наскучив их диалогом; что и подъехавшие кавказцы тоже идут к толпе, как и два его спутника, Тимофей да толстяк; что и старенький инок в выцветшей рясе, певший о вере, тоже вдруг светлым кукольным личиком с вострым носиком обратился к косе с костром.

Этот самый Квашнин с баульчиком белоснежного цвета; этот воинственный адогматик; этот охальник рационального, мракобес, обскурант, эмпирия, произвол, черносотенец; этот броский юродивый; этот шалый эксцентрик; этот задумавший стать системою случай; этот назойливый столп чудес, вождь тупости, агрегатор незнания; этот хаос, рушащий смыслы, правила, нормы и привлекающий пьяниц, неучей, разгильдяев, блаженных и легковеров, был Разумовскому мерзок казусом, о котором забыть нельзя, — и он тоже шагнул к толпе, устремившейся к речке, ибо уйти сейчас было худшее для того, кто вершил труд погибели квашниных.

Действительно, случай был оскорбительный. В декабре Разумовский, плюс институтские, в том числе толстый нынешний спутник Игорь Крапивин, доктор наук, бионик и математик, в целях науки были в Лас-Вегасе. Тему за́дало министерство: требовался конкретный и обоснованный план редукции в русских склонности к бунтам как «беспощадным», так и «бессмысленным»; предстояло извлечь нерв русской стихийности, отыскать код русского гена. Власть защищалась, ибо любая власть хочет длить себя в вечности, чтоб *всегда, в полной мере функционировать, быть на троне*, — что привлекало и Разумовского в виду собственных нужд и целей, но безразличных, в общем и в принципе, кто и что сознавать себя будет властью: Ельцин, Утыркин, Меркель, принц датский либо компьютерный супермозг. Власть — главное… А Лас-Вегас как раз был фактом стихийности, подчинённой порядку, — что философски, математически и этически их команда мнила познать, задумчиво дефилируя в залах, анализируя, наблюдая картёжников, поединки с машинами, сброс костей и кружение шариков. Маскируясь, тратили доллары на игру либо выпивку — и нашли Льва Барыгиса, уголовника, а потом председателя ПДП (скандальной люмпенской партии). Пару лет назад Разумовский этого зэка умно пиарил в собственных целях (многое он терпел и многим пренебрегал, чтоб разум, вырвавшись к власти, сверг беззаконие). Лев Барыгис, устроившись на огромном диване, ставил по тысяче и, поскольку давно сидел, потерял тысяч двести. Он чванно морщился грушевидным лицом своим в рамке светлых, но мелких, детских кудряшек и делал ставки мини-ладошками, хотя сам был не мал, а крупен, даже дороден и представителен. Он, позвав Разумовского, принялся вербовать его к соучастию в политических происках. Тот отнекался делом, коим-де занят и кое «полностью не в формате дел ПДП».

«Что знаешь про ПэДэПэ, мудрила?» — бросил Барыгис, глядя на даму, ставившую по сотне и флиртовавшую с ним гримасами.

В круг зевак у стола с рулеткой сунулась голова при пейсах; маленький шаровидный семит был в смокинге и, воскликнув: «Павел Михайлович!» — стал кого-то манить рукой.

«Ройцман, хрен, не отсвечивай! — рыганулся Барыгис. — Ты здесь откуда? Пшёл! отодвинься!..» — Ибо пейсатый тип заслонял вид дамы, строившей глазки.

«Лёва?.. Играешь? — бойко вертелся и тараторил маленький Ройцман, введший в толпу зевак у стола субъекта, что и усаженный был огромен, разве что жёлт лицом и померклый. — Стол здесь для многих! А у меня — предъява, если на то пошло. Я звонил зимой — ты помог мне? Даже не принял! Где благодарность? Я, Лёва, спас тебя, свёл к статье за халатность. Верно, забыл? Fuck, fuck you… В общем, silentium. Западло с тобой… Ты хоть туз, но культурой — урка шестёрочный, се ля ви. Пшёл сам!

Известного адвоката, разом утратившего карьеру, статус, имущество, Разумовский признал. Бесчестные и сомнительные процессы ельцинской хапальной плутократии и маститых дельцов вёл Ройцман, высшего класса специалист, асс права и златоуст, вёл долго, года четыре. Но угнездившаяся в нём тьма взяла своё; он стал ярый игрок, мошенник и сексоман в придачу, так что солидная клиентура связи с ним ограничила и свела на нет; Ройцман впал в нищету, в пороки и приохотился к зелью.

С ним был болезненный и задумчивый спутник. Долго Барыгис нагло, в упор почти, наблюдал его через стол с рулеткою, после спрашивал Разумовского: с кем, мол, Ройцман? что за детина? Оба не знали. Ставил тот много, под миллион почти. Вмиг Барыгис забыт был и увеличилось сразу зрителей. Ставку приняли, как пришёл управляющий. Новичок ставил первый, ставил на «пять» на красное; после ставили дама с прочими.

Колесо на раскрут пошло.

Саркастически, мрачно хмыкал Барыгис. Молча, презрительно наблюдал Разумовский. Ройцман напрягся. Думали, что, наверное, ставится весь вообще капитал двух русских, маленького и огромного. Напряжение охватило всех и росло… Рулетка явила зелень, нуль то бишь, и крупье сдвинул фишки от проигравших, в том числе ставку рослого русского. Дама выиграла сто долларов и скосила глаз на Барыгиса. Ройцман дёрнулся.

«Что, облом? — покривился Барыгис. — Ройцман-лузяра напрочь продулся? Ройцман, гудбай, бля! Ехай в Россию!»

«Шесть, — сказал на английском странный огромный сумрачный русский. — Два миллиона ставлю на шесть, крупье».

Разумовский приветствовал «глупость случая» громким голосом, намекая на проигрыш двух сограждан.

Ройцман склонился что-то шептать субъекту, но, отстранив его, тот ответил вдруг Разумовскому на презрение репликой, оскорбительной смыслом, ибо давным-давно сходным образом пылкий Кьéркегор высек Гегеля:

«Герр профессор верил в разумность, но только мышь родил».

Фраза — хлыст в лицо. Вряд ли зная, что Разумовский тоже профессор, он угадал. Случайно? Но он не знал же про интересы, склонности и научную занятость Разумовского ролью случая в механизме порядков с чётко очерченной мерой зла и добра? Нельзя отмолчаться, мнил Разумовский, вспомнив из греков, что в философии может прав быть любой, ведь верх берёт диалектика. Он отрезал: «Ницше, убив в себе честь, мораль и закон, пришёл в конце к „amor fati“ — к рабству и стланию перед фатумом, к подчинению року. В общем, в Лас-Вегасе я неделю, и я всегда вам подам на пиццу как проигравшим». Ибо он вправду мнил, — и когда в тот тревожный миг круг шумливой рулетки гнал белый шарик, но и всегда, — что норма, мера, законы правят случайностью и что разум, казня их, следует к благу, а акциденция либо вера в «авось» губительны.

«Вам ответ», — отвечал игрок, ибо «шесть» его выпало, он своё отыграл с лихвой и поставил опять на «шесть» все свои миллионы.

Бликнув испариной, Ройцман крикнул: «Довольно! Ну, Поль Михайлович… Босс! Квашнин, чёрт возьми вас! Вы проиграетесь!.. Наш Поль-Майк, — обратился он к зрителям, — Russian boyar[6]!» — и рассказал потом, что в 13-ом, в Монте-Карло «двадцать раз кряду выпало красное».

Ожил гул, вскрики, шёпот. Дама поблизости Квашнина вздохнула и от Барыгиса отвернулась к новому игроку, успешному. А Барыгис поёрзал задом на месте, после закинул слонопотамью, очень мясистую ногу на́ ногу. Он был в сдержанной ярости.

Странный русский выигрывал раз за разом, ставя на «шесть», и выиграл миллионы.

«Двадцать на шесть», — поставил он.

Управляющий ляпнул: «Стол поломался. К вашим услугам в зале другие десять столов, сэр».

Ройцман пронзительно, с адвокатским апломбом, сразу по поводу процитировал ряд законов, что защищали право играющего на прежний стол. Управляющий разрешил играть и стоял с тех пор с сотовым, а крупье, чья карьера закончится, если он введёт стол в убытки, круг раскрутил опять. Шарик бойко запрыгал. Далее слышались лишь два голоса вперебив с глуховатым звуком рулетки.

«Двадцать на шесть» (Квашнин).

«Шесть» (крупье).

«Сорок пять на шесть».

«Есть… шесть ваши…»

«Восемьдесят на шесть».

«Шестёрка…»

«Сто шестьдесят на шесть».

«Ваше, ваше, сэр…»

Русский, ставя на «шесть», выигрывал. Люд, толпясь вокруг, гомонил, ибо шарик покорно, маниакально падал на «шесть», как про́клятый. Дама вздумала тоже ставить на «шесть» — не дали. Ройцман, нервозный, потный, вертлявый, в смокинге, перекошенном в складки, вскрикивал, когда мертвенный, побледневший крупье сдвигал к Квашнину жетоны. Ярость Барыгиса крылась в облике ангела, каковым он казался из-за каскадов светлых завитых мелких кудряшек, что окаймляли грушеподобный студень лица его; только сцепленные, — короткие, по сравнению с тучным кряжистым телом, — руки сжимались вдруг в кулаки, некрупные, оттого негрозные.

С Разумовским творилось странное. Безучастный к давке толпы вокруг, он, хотя и отслеживал Квашнина, но явственно ничего не видел, точно незрячий. Он, придя на суд «случая», где «случайное» вешают; где «случайное» тычут в серево; где «случайному» раздают затрещины; где «случайное», — это чудо, ржущее в стройном, правильном хоре взбалмошной лошадью, вышибают за дверь, — следил теперь, как «случайное» костерит системности и крушит очевидности с дважды два четыре, как изгаляется над порядком вещей, плюя в него! Разумовскому даже стало мерещиться, что совсем не законы, а акциденция правит миром! Он не желал сего. Он не верил, что чудо, — жизнь то бишь, — побеждает устои закономерностей. Как не верили в это боссы из казино в Лас-Вегасе. Управляющий им звонил — и слышал: «Чуд не бывает, а отыграться необходимо, сам понимаешь»; даже когда он в крик кричал, что, мол, русский ставил на «шесть» раз десять и побеждал, он слышал: «Не беспокойся. Ты лучше стол встряхни». Управляющий стол «встряхнул» рывком. Он отнюдь не был глуп и знал поэтому, что не глупы и боссы: нет причин совпадать назначенной и итоговой цифрам без перерыва. Ибо наличествовал баланс как проигрышей, так и выигрышей, при котором триумф, естественно, был за тем, у кого средств больше; средств было больше у казино, конечно… Но с этим русским

[6] Русский боярин (англ.).

властный железный вечный закон, чем держится здравый смысл, шатнулся, дав карт-бланш диким сюррам, что поощряли фарт, прихоть, чудо. Люди давились подле счастливчика, и стоял громкий гул. Газетчики набежали; их прилежанием рослый русский — «boyar Kuashnin» — вознёсся от человека средней статистики, медианно-модального, к «homo magnus», то есть к «великому человеку», к «важной персоне».

«Триста на шесть».

«Шесть ваши!» — вскрикивал потрясённый крупье.

«Пятьсот на шесть».

«Да!»

«Семьсот на шесть».

«Вышло!!» — начал рыдать крупье.

Зал с ума сходил. Ройцман дёргался. Стыл Барыгис. А Разумовский был в унижении. Это «шесть», эти странные чуда в ряд отменяли законы и философию, познающую суть вещей, чтоб следовать… Дьявол, следовать — в чудах этих «шести» — куда? к абсурду?! Где же законы: чисел, и тождества, и достаточных оснований, и остальные, — если вдруг «шесть», треклятые, выпадают пятьсот раз, тысячу?!

Было вновь «шесть» — и выигрыш, и в лицо Разумовскому инвектива от Квашнина: «Advéntavit asinus pulcher fortissimus[7]». Мало кто понял, впрочем, направленность инвективы, кроме стоявшего близ Крапивина. Но сознание поняло! Понял строй перечёркнутых, оскорблённых принципов!

Казино пало первым. Шалому, исступлённому Ройцману дали сотовый; разговор специально шёл громкой связью, так что зал слушал, как самый главный, вроде нью-йоркский босс, брякнул, что он банкрот почти, но Квашнин куш получит. «Всё-таки, — босс закончил, — мой бизнес лучший; мой бизнес тем стоит, что в моём казино можно выиграть миллиарды». Этот блистательный деловой пиар Разумовский не слышал, как и не видел, что хваткий Ройцман с помпой на публике дал крупье миллион почти и провёл подписание всех формальностей и отъезд из США со своим нанимателем. Разумовский был слеп. И глух. Его выбила из себя та мелочь, что, в вихре зримых сказок с рулеткой, разворотивших остов мышления, он сражён был цитатою, из какой пил и сам порой: от вагантов в «осле» было чуточку, — был там Ницше, спущенный, словно пёс на «фас», Разумовским, чтоб отфутболиться Квашниным намеренно без преамбулы, ибо Ницше сказал сперва: «Всякий раз, как философ выказывает уверенность, вспоминаю: „Advéntavit asinus…“». Вот что было в Лас-Вегасе между ним, Разумовским, и Квашниным П. М., — отчего Разумовский *постановил* забыть и забыл почти про Лас-Вегас. Но, по дороге к Чёрному морю, он вдруг съезжает в тульские взгорья, чтоб впасть в мир бабочек на нагой полудурочной, в мир сусальных церквей в безлюдьи, в мир воплей инока, в мир профана-художника, чью мазню на мольберте пачкают мухи, — сходно в мир давнего оппонента, что обретается в малой Квасовке, коя есть три избы всего!

Разумовскому из-за спин толстяка (Крапивина, его спутника), Даны, кукольного монаха всё было видно. Кстати и берег их, где скопилась толпа — пусть редкая — возвышался над речкой и травянистой косой за речкой, где взвилось пламя. Ройцман стоял там с клерком из банка в синем костюме. В воинском хаки, в бронежилете, в чёрных перчатках, с рацией в кулаке, у пламени был по-прежнему молодой человек. Медлительный, во всём белом Квашнин обыденно распахнул баульчик белого цвета. Выпали доллары — пачки долларов, кои вспыхнули и пошли гореть ало-синими нимбами. Походило — точно траву жгли. Люди молчали: те, кто на выкосе, но и те у костра за речкой. Злобно ругался только старик с клюкой и со сросшимися густыми высветленными бровями, что накануне лаял художника, каковой попытался с ним побеседовать.

[7] Се осёл велелепный, сильный-пресильный (лат).

— Э! — вскричал из кавказцев тот, что постарше, в чёрной рубахе, в брюках, с кожаными на туфлях пряжками. — Зра, Михалович, ты палышь! Зра цэркви, — нада мечэти! Нэт твой народ, ты понял? Кто тут? Старухи, пьянь, дура Данка. Я был одын здэс; стала нас трицать. Русские где сэчас? Ест Чадаево? Ест Шепотево? Ест Рождэствено? Это тоже нэт. И Мансарово нэт пачти. Ты бы их не кормыл — их не было бы савсэм. Ты церквами за́нал всэ тут вершины. — Он рассмеялся. — Гости уедут — и ты опять одын… А твой сын здэс не будет, нэт! Ты умрёш… — он повёл рукой, — пропадёт всо. Я тэбэ долгий, правильный жизн хачу. Я лублу сильный личност. Но я и сам умру, за мэня сын останетса… Знай, здэс будэт ислам. Юг — наше. Русским вам — лес рубыть, брат, на сэвере! — говорил он насмешливо Квашнину. — Вы вымрэте. Ты сэгодня им дэньги дал, а они самогон берут, пьют, блуют! Жизн живут, а не дэлают… Русский! — он прокричал. — Спасыба, что сабирали нам тэрриторий! Очэнь спасиба! Вас здэс не будет, вас будэт мало. Вас будэт мэнше, чем дэсять тысач. Вымрэте! Я дэла веду, пять хозяйств вэду — и все русские пьянь… Мнэ, мнэ эти дэньги дай, брат Михалович, чтоб парадок был! Э, в ислам давай — мы вас быстра дэлать порадок! Я сказал, я, Ревазов!

— Ты, Мехмет, хочешь выстрелить? — нервно дёрнувшись, петухом вскричал молодой человек в перчатках чёрного цвета и в форме хаки на травяной косе у костра, в прищур следя оппонента.

— Нэт! — просмеялся тот.

В сером сборище, что стояло на выкосе, отошли от чеченцев местные жители. К Квашнину обратился старческий голос некой старухи:

— Ты бы сказал что.

— Цыц!! — оборвал её дед с клюкой и со сросшимися густыми, высветленными бровями. — Я тут жил в Квасовке в среднем доме! Я тут от предков жил! Мой отец был герой, ревкомовец. А мой сын был випарь, вы знаете. Вас кормил-поил, водки лил вам немерено. Так, Толян и Колян? поил вас? (*Те покивали*). Сын мой, он церковь Пантелеймона в вашем Теняво и завод в Флавске делал, чтоб вы работали. Нас, Закваскиных, каждый знал… Отъебись!! — оттолкнул он художника, подступившего с шёпотом. — Ваш Квашнин тут сдыхал, мудак, голый бегал ночами, да и теперь он бегает, потому как придурочный. Он богатым стал — а мой сын запропал-исчез. Ваш Квашнин ухайдокал, сына-то!! — тряс клюкой старик, стервенея. — Сын бы был — тут Мехметка хвалился бы? Сын его бы урыл к херам! А теперь этот деньги жгёт!! Ведь мои это деньги!! — И пятернёю старый вцепился в ворот рубахи. — Жгёт… Мои деньги!.. Он их у сына взял!!

Все воззрились на деньги, что подлетали в искрах и в пепле и плыли дымом в знойные выси. А Разумовский думал сурово: где же полиция, что видна близ «УАЗика» на яру вверху? где иная власть, хоть бы в синем костюме банковский служащий, зрящий порчу наличности, чтоб составить в итоге акт ликвидации некой суммы с номера «икс» по «игрек»? Да и не «некой» ведь! По всему — миллион укрощающего зло средства.

— Жалкий, — он произнёс, — актёришка. Сжечь громаднейший, миллионный труд, заключённый в банкнотах… Псих… Сумасшедший гнусный Квашнин… Безумец! — Это он говорил Крапивину, утиравшемуся от пота и вместе с ним в Лас-Вегасе наблюдавшего Квашнина в игре.

— Похоже, — с ходу признал тот, — это спектакль ненужности денег и частной собственности вообще.

— Вне всякого, он безумец, он ненормальный, — жёстко суммировал Разумовский и вдруг услышал от обернувшегося монаха с розовым детсковатым лицом, с голубенькими глазами около вострого детски носика:

— Это как поглядеть на них, на безумных.

— Я повторяю: он сумасшедший. Сей факт бесспорная очевидная данность.

— Нет, — молвил старец, — этаких данностей.

— А вы кто? Вы эксперт, смотрю? — заклеймил Разумовский, глядя сурово, ибо абсурд брал силу; всё мнилось бредом.

— Я мимоходом, шедши в обитель, как изъяснял уже. Многогрешный Зосима я…

— Вы из тех, смотрю, для кого Земля плоская?

— Она плоская-то и есть, — был вздох в ответ. — Провели шаровидность менталитетом… Вот, хоть у ней спроси, какова Земля. — И монашек коснулся светлых косм Даны, стывшей поблизости.

Та молчала минуту. После пропела: — Ох, я не знаю, не понимаю ни А ни Бэ. Живое всё, всё меняется… — Она речь вела, точно нет очевидного; есть, зато, небывалое. — Нет земли, всё единое… Вам сказать надо так? Или так сказать, чтобы нравилось? Я скажу сейчас. Жизнь в словах точно в клетке… Я вижу мёртвое слово, мёртвое! — Дана вскинула руку.

— Бог с тобой! — простонал монах. — Что ты, девочка!

— А как надо, скажите мне… — опустилась та в древних тёмных очках на выкос, будто в бессилии, так что бабочки от неё вспорхнули.

— Следует мыслить, — встрял Разумовский, — ладно науке, коя проверенный и доказанный опыт тысяч великих знающих разумов. Прихоть жизненной частности есть ничто.

— Не лги на Жизнь, — сев близ Даны на корточки, молвил старец. — Не обобщай. Вновь Кант сплошной? Бог есть Жи́вый, как и все люди.

Не замечая, что тот — про Канта, ибо последнего людям *должно* знать, Разумовский готовился отпарировать, наблюдая тушение на косе огня с визированием клерком в синем костюме акта «сожи́га» (вслед за чем тот ушёл на яр к «инкассаторской»). Разумовский сказал бы: мир сей, Зосима, глупый начётчик, не перегон за «гроб», в «*царство Божие*», как считают церковники; нет, сей мир есть единственный, а загробность отсутствует; предстоит изменить сей мир, обработать. Быть в сём миру — долг разума, компетентного разума, каковой Разумовский мнил, отодрав от плоти, встроить в компьютер, чем обеспечить выход рефлексий из уязвимой хлипкой органики в нано-пластик, в кремний и в платину, дабы разуму дать в бессмертие. «*Царству Божию*» угрожал он новым эдемом в виде особой киберсистемы, что будет вечностью хода мысли ищущего в себе лишь, универсального, разорвавшего с жизнью Логоса. Пусть не будет совсем живых, пусть исчезнет действительность, но идеи, понятия не прейдут вовек. Дважды два есть четыре — даже отсутствуй, кто бы решил так. Разум системно, строго логически обращает реальность от архаичных, грубых пещерных, чуть не аморфных форм в формы тонкие через фильтр законов, что, как безжалостный абразив, скоблят собой биомассу вплоть до потребных разуму качеств — и, в результате, тех абразивных строгих законов скопиться столько, что жизнь соскоблится и сотрётся; жизни не станет. С неких пор человек, по сути, не в состоянии быть в органике, что всегда прихотлива, вздорна, капризна и привередлива. С примитивности (с представлений о боге, знаках, искусстве etc.) возлетевшим к научности, мировым осмыслениям, что начнут контролировать каждый нерв в живом, каждый вдох в живом, соответствует лишь реальность тонких энергий, коя и станет новой, нетленной ризой для разума, что решил обессмертиться в плазме, битах, фотонах. И это истинное, не в «боге», Преображение!

Вот что мнил Разумовский высказать церкви, да и всем людям, кои услышат, через монаха, но не успел сказать, ибо сделалась, — вдруг, как всё здесь, — метаморфоза. «Тронутый Олигарх» шагнул уже, когда Ройцман (тип в чёрной шляпе и в лапсердаке, также при пейсах), кинувшись, из костра взял пачку, с краю горящую. Молодой человек, остриженный, в форме хаки, в чёрных перчатках, деньги те отнял и отшвырнул прочь; зноем от у́глей их понесло вверх; после купюры ссыпались в речку, где затряслись в волнах. Люди бросились в воду. С криком ругательный и бровастый старик помчал вдогон:

— Деньги, суки, не трожь, сказал! Сына деньги — мои!!

Клюкой сплеча он взгрел бабу и, цапнув пару мокрых купюр, свалился. Первым к нему затрусил художник в сером плаще; направились вскоре все, шушукаясь, что дед «дубу даёт, верняк», и позвавшие инока исповедать упавшего.

— Бог? Ты баксы дай, а не бог… — хрипел старик. — С ними я проживу, слышь… — После, вцепившись в рясу монаха, он произнёс: — Бог вправду есть? — и затих, скончавшись.

Инок избавил складки на рясе от цепких пальцев.

— Жить целят в злате, а умирая, просятся к Богу, — он возгласил.

Толян (пока наглые два юнца, сняя в «адидасах», схватывали близ мёртвого оброненные деньги) крикнул за речку: — Эта… Михалыч! На́ смерть ставь выпить! Нету Закваскина. Он того… акей!

В нестерпимой жаре от рослого, в ослепительно белом всём, человека, словно нарочно для Разумовского, возбуждая в том ярость и бред Лас-Вегаса, прозвучало неспешно, как бы и судно:

— Кончился, как и все миллиарды прежде живущих, ныне покойных. Ибо законы неколебимы: ты хоть всю жизнь им рабствуй, всё же подохнешь. Ибо законы.

И говоривший двинулся с травяной косы через тальники вверх, к избе на яр.

Это не были фразы, вник Разумовский. Это был хаос, кой воля разума сводит в космос, то есть в расчисленный, объяснимый, взвешенный мир. Не слушая слов Крапивина, излагающего про джип смятенно, быстро пройдя вниз, к речке, так что лишь метры чистой воды отделяли его от мыса с вяло дымящими угольями костра, он начал бескомпромиссно:

— Вы, Квашнин, мракобес, паяц. Я не вас не посрамлять пришёл; я про ваш фарс не знал; случайно здесь оказался. Вы же в том месте, где ваши предки, знаем, боярили и губили Россию, возобновляете их разор! К разбойному их невежеству подключили юродивый свой апломб, фигляр? Лучше *вам* взять и «сдохнуть», как заявили. В мерзости Квасовки, перед сбродом оборванных жалких люмпенов, вы творите спектакль, злой фарс, оскорбляющий разум. Вы жжёте деньги, что этой массе дали бы свет, культуру, средства для нового! Вы могли здешних юношей обучить в институтах; старых послать на курорт на юг; алкоголиков, вылечив, вы могли бы пристроить честно трудиться; а идиотку, Дану щепотьевскую, сдать в клинику. Вы же, шут, насаждаете хаос. Всякий зевака, видящий, как за миг истребляется воплощённый в банкнотах труд человечества, не захочет работать, так как вы учите, что достоинство дел не значит. Вы и на Западе возбуждаете взгляд на русских как на нелепость. Вы — патология! Дам в Москве ход процессу о помещении вас в психушку, — вёл Разумовский, кто представлял собой в данном случае разум, что над собой и вокруг себя не терпел препон и не стерпит.

Ибо с начал времён разум всем уступал честь, славу, женщин, богатства; не уступал он лишь правоты своей и своей гегемонии; захоти кто быть первым, что значит правым, тот следуй разуму. Либо в разум за истиной — либо в хаос чудес, фантастики, экстатических воплей, сладостных грёз, безумия… Но чем дальше вещал он, тем хуже слушали, — не Квашнин теперь, кто шагал на яр, но толпа вокруг, реготавшая и вставлявшая реплики. Наконец, он вещал уже никому, поняв, что, за неким пределом, здесь, подле речки около Квасовки, где царит Квашнин, обессилел рассудок и началась власть дури и сумасшествия.

— Вы опаснейший тип, Квашнин! — он хотел завершить вдогон, но напившийся оголтелый Толян сказал:

— Колёса где?

И, взглянув на Крапивина и на место, где джипа не было, Разумовский сорвался: — Вы негодяй, Квашнин!

— Что, осёл велелепный? — вроде услышал он и вскричал:

— Убью!!!..

Дальнейшее было дикостью: молодой человек, остриженный, в форме хаки, в чёрных перчатках, тот, что разжёг костёр и тушил после акта «сожи́га», тот, что у Ройцмана отнял

доллары, а Ревазову предлагал стрелять, вдруг выхватил пистолет и, гаркнув: «На́, бери!» — зашвырнул его, изловчась, за речку для Разумовского, кой, схватясь за ствол, громко вскрикнул от боли. Рухнув на скошенную траву, сжав рану, он вроде слышал, как молодой в девайс констатировал: «Пятый пост, молодцы! Отлично!»; также расслышал он, как Толян подошёл твердя: «Тут нельзя стрелять»; и ещё что-то вроде: «Мат уму. Мрут идеи воочию»… Это всё, что почувствовал Разумовский и что воспринял. Дальше пропали солнце, зной, люди, бредшие рядом, тёмные и большие очки (чьи, Даны?). Правый рукав его был в крови, сознание затуманилось… Кто-то нёс его через речку, и он увидел, — как он до этого видел бабочек, — экзотических рыб: майнгано, касидоронов, львиноголовок и телескопов, мохоголовых пёстрых собачек, аргусов, линофрин, тернеций и пигоплитов, красных тритонов, также тряпичников, спинорогов, панд, лир, неонов, меланотений, барбусов, даже дискусов!

…Оказался он в обветшалой избе у лиственниц, на лежанке у печки, в свете от древних маленьких окон, где он следил терпя, как, присев за стол, белоснежный Квашнин по смартфону звонил куда-то, а молодой тип, коротко стриженный, в форме хаки, сняв кобуру, патронник и два подсумка, в чёрных перчатках начал лить водку в старую кружку; после, пройдя к столу, начал пить её. Разумовский молчал, сжав рану. В этом квашнинском, думал он, царстве — тоже Россия; значит, здесь действуют конституция и закон РФ, что, глухие к незначащим, к Разумовскому, не последнему в мире, будут внимательны. Он уверен был, что с приходом полиции всё пойдёт от абсурда к принятым нормам. Он скажет: сам виной, поднял ствол — и попал в себя. Что ему юный дурень, хлещущий водку в чёрных перчатках, дабы смотреться грозным бруталом? Что? а ничто, сопляк! Ибо сам Разумовский был в переделках в Афганистане. Мстить перерострку он не намерен… Кстати, и спор с Квашниным — не личный. Личность — факт падший, факт побеждённый. Разум есть синтез и обобщение. Но Квашнин, вытесняющий нормы с зоны влияния своих бредней, — страшный преступник, должный в тюрьме сидеть… Он смолчал, и когда дали трубку, где раздалось: «Масквич?.. Паслушай! Это Рэвазов. Не уважаемый наш Михалович твой машына брал; это сын мой брал. Сын мой глупый, малэнький школьнык. Джып твой на месте, можешь ежжать. Прасти». Он смолчал, и когда пришла докторша, чтоб его обихаживать, а Квашнин говорил негромко, сидя напротив парня-«спецназовца» за столом:

— Попробую объясниться, хоть я убил слова и они напрасны. Я не стрелял в вас. Но — здесь стреляют в каждых и всяких, думающих убить. Простите. Здесь пажить Истины, где стремятся не лить кровь… Парадоксально? Истина есть живая и, как живая, может показывается, где хочет, — и в парадоксах. Истина не равна себе и с собой несхожа; нынче что́ истинно — завтра ложь. Здесь Истина не незыблема, как у вас… Простите… — Он, помолчав, продолжил. — Кстати, агрессию начал ваш нетерпимый, знающий «истину», но, однако, фальшивую, обобщающий разум. Вы проявили пыл убивать, вы крикнули: «Я убью». Случись у вас пистолет, стреляли бы? От Платона в вас правило, установка политики: подавлять несогласных. Истина «нудит», я не припомню, кто так сказал когда-то, — вёл Квашнин за столом в расплывчатом полусумраке. — После даже апостол требовал «принуждать»… Выходит, вы не возвышенны. Вы не лучше Сократа, гнавшего Протагора, кой начал спорить не как подследственный. Что́ вы сделали, взяв-таки пистолет, есть подлинно дело разума как итог его строя, типа мышления, как решающий довод этого разума. Полагаю, вы скажете, сорвались и в вас «отзвук стихий» взыграл? Подростковые зверства тоже стихийны? или бандитский с кровью гопстоп таков? Нет, на то и стихия, чтоб не имелось целей и планов. Хаос, стихия — если стреляешь слепо, невесть куда, и из дула льют розы. В вас не стихия строила доводы, а затем пистолет взяла, чтоб меня *убедить*, но разум. Подозреваю… — вёл Квашнин, чуть ослабив свой галстук и со стола взяв склянку, видно с лекарствами, — убивать вы не думали. Вы замыслили лишь внушить *своё* мне, упрямому, как решили вы. Мните, знаете сущность? Вряд ли вы знаете. В вас идеи да смыслы,

и очевидные, например: «без дыхания жить немыслимо», «гравитация действенна», а «Земля шаровидна». Ибо всеобщность — знак ваших истин и предикат её. Философски возвыситься в вашем случае — это смочь растоптать всё частное, прихотливое, а иначе живое. Жизнь ведь преступна: что это муха с лёту вдруг в чай мой? либо ребёнок что вдруг рождается, если я не хочу? Решите: дважды два пять, — но если вам не поверят, значит, не истинно. А в четыре от дважды двух если верят — это вмиг истинно? — продолжал Квашнин, выпив склянку. — Некий мудрец писал: дважды два — пять в той мере, как и четыре. Впрочем, неважно. Вы выражаете точку зрения всемства, кое согласно, что без дыхания жить нельзя, се «истина». То бишь, истинно — с чем согласен ум средний, серый, посредственный, ограниченный, каковой признаёт лишь ясное. Заключать же из смутного вам нельзя; мышлению нужно ясное. Что яснее всего? Знак, цифра. Скажете: дважды два четыре — и все вам верят, до апокалипсиса, до краха, до «чисел Зверя» — где тайна тайн отнюдь не в шестёрках, а в *самоё числе*.

Вы — стандартное, обобщённое. Вы ничуть не возвышенны, как, наверно, считаете. Вы не светоч духовности. Вы посредственность и с тенденцией к простоте. Посредственность! Вас пугают окраины, где Квашнин тупо ставит на шесть… В Лас-Вегасе видел вас, — улыбнулся Квашнин. — Толчётесь около скопа, раб очевидностей, жрец срединного, где всегда всем всё ясно? Вы отличаетесь от толпы лишь знанием общепринятых тезисов, мастерством сопрягать их. Явно, вам нравится, что вы — кладезь банальностей, собранных, дабы всех убеждать и властвовать. Пусть вы даже и знаете, что порой дважды два отнюдь не четыре, вы факт таите, ибо вам надо, чтоб понимали вас, а поймут, если вы вслед за всеми будете вторить про «дважды два четыре»… — Видя, что раненый привстаёт, отпихиваясь от докторши и бинтов её, вновь хозяин продолжил: — Вы усреднённый, что бы ни думали. Оттого вы за средний, милый вам класс, любимый класс. Вы всем лжёте про ценность этого важного, стержневого-де класса, что золотая средина-де и триумф справедливости, доброты, активности… Ан, там нуль, кроме денег, коим и курится фимиам, да этики, что даёт зарабатывать и собой любоваться, дела нет, что довольство и денежность ваши — от утеснений бедного люда. Вы с усреднённостью лучше съедьте в Германию либо в США… Про девочку же скажу, про *дуру*… — сбился Квашнин. — Чтó в Квасовке здесь я делаю вслед за тем, как убил слова, — я их точно убил, поверьте, — всё, что я делаю, я вершу ради Истины, но не вашей, вяжущей сеть химер, а Истины, что с крылами. Здесь пажить Истины, здесь плацдарм её. Здесь бессильны законы, что прописали вы в фолиантах, коими жизнь сминаете. Для примера скажу вам, что гравитация не премирна, а появилась, стоило выдумать гравитацию, дабы всех склонить к вами выганной данности, то есть к *почве*… О, эта почва, этот ваш трезвый и постоянный взгляд вниз, в *реальность*-де! Вы и женщину портите, акцентируя низ её, пах, промежное, а она смотрит в небо. Всё от Адама; всё первородный этот ваш грех, бунт разума… — и Квашнин помолчал опять. — Здесь, в урочище Истины, сбереглась от господства ваших законов райская залежь, целящая вернуться в рай. Дана, *дура*, как говорите вы?.. — Он умолк, но, когда молодой человек, остриженный, в форм хаки, в чёрных перчатках, встал, выпив водку, из-за стола, продолжил: — Сядь, сынок, погоди чуть-чуть и дослушай про Дану. Гость наш пусть тоже Дану запомнит… Дана — метафора, парафраза, символ. Дана — как глыба, что не затронута и таит вероятности тысяч модусов; что была изначальной, всесовершенной подлинной сутью, прежде чем Фидий либо ваш Шадр с Кановою не свели её в вид девиц с веслом и венерок, руша премирную Безъизъянность ради красот-де в лад нормам разума. Ваш путь начат был словом, сладившим мерзостный «*сей мир*» библии, Канта, Моцарта, здравомыслия, иерархии, секса, денег, понятий, войн, притеснений, как и написано в вашей библии, что «*в начале бе слово*»-де. А в моём Изначалии, что не видимо вашим умственным ограниченным зрением, — хаос зыбких, аморфных, смутных, текучих, не претерпевших рукоприкладства, девственных глыб — как эта вот анормальная девочка и как дура-Россия. Хватит отёсывать их на галльский, англосаксонский, на иудейский и на иной манер…

— Стойте, Павел Михайлович! — вдруг послышался резкий тенорный голос скрытого печкой от Разумовского, что стоял у лежанки, Ройцмана. — Тише, не успеваю… Верно ли: «я не дам вам отёсывать их на галльский…» Так у вас?

— …и иной манер, — вёл Квашнин. — Да пребудут в премирном и Безъизъянном дура с Россией. Пусть смотрят в небо, а не в реальность ваших свершений. Я помешаю окреативить их. Я вам враг, потому что мышление ваше есть деградация, войны, крах.

— Осмелюсь… — вновь начал Ройцман, высунув голову в чёрной шляпе из-за печного обогревательного щитка. — Смотрю, Разумовский, вы там с иронией? Я в статьях ваших всяких, но и в Лас-Вегасе, отмечал её. А ведь я очень чуткий, умный, внимательный и прилежный еврей, пардон, чтоб таких штук не чувствовать. Почему это истину не хотите? Всё у всех сходное и всегда себе равное — идеал ваш? Знаю, напишете, как еврей при юроде служит записчиком. Бросив, дескать, Москву, сюда сбежал, hic et nunc[8] ортодоксом. А для чего Исайя, спросим, нагим ходил? Для чего наш другой пророк в жёны шлюху взял? Что, молчите?.. Вы, Разумовский, умник зашоренный! В голове у вас строймонтаж закончился и все знания на болтах сидят. Доведёт вас дурная самоуверенность, как и всех вралей ВШЭ, Высшей Школы — ха! — экономики, что программки строчи́т для нас, несмышлёнышей, как нам срать и дышать… Прошу, равви́! — отвернулся он к Квашнину. — Пролейте свет, почему вдруг Россия не от Евангелья, не от Слова — но от какого-то «Изначалия», вы считаете? Жизнь ведя на авось всегда, одержимы бессменно щучьим веленьем, несозидательны, пока нет в них варягов, праздные, ваши русские — самый, в общем, евангельский люд, как велено, «*правый верой жив*», а не действием. Я знал многих убийц; живёт такой, ни любви в нём, ни духа, пьёт, истязает, но на допросе: «Верую!» — брякнет, грудь перекрестит, запричитает, бухнется в ноги, уничижаясь, и разберись поди. Атеисты, не видевшие тень веры, скажут вам, что народ пошл и низмен, подл и невежествен, что, будь вера в народе, жил бы по Богу, Божий закон хранил. Так сказали бы, игнорировав, что не сброд, но соль соли народов, — лучшие, значит, лучших, — странно Христов закон исполняли. Лютер, он как считал? Так считал, что Бог выдумал плаху, чтоб править чернью. А августиново «принуждать» есть правило инквизиции. Гильдебранд слыл «Святым Сатаной»… Тьма доводов, очень много их, извиняюсь, хоть им не до́лжно быть; их равви́ убил, то бишь вы, многомудрый Павел Михайлович… Где там наш Разумовский? — начал усмешливо Ройцман снова. — Где строгий логик и атеист наш? Бога и впрямь ведь нет! Мы теперь в первородном грехе, в фальшивости, где нет Бога, так как мы выпали из эдема в некое абсолютно *своё*, в разумное, чересчур человечное, и в нём тухнем. Это равви́ постиг. Мы не в Божьем миру — а в падшем, а в грехопадном; мы извиваемся в нём, как черви, в скорби и муках. Нас не дела спасут, не программы, как, мол, жить лучше, но покаяние, остановка ума и членов, полная праздность! Чурка нас истинней, раз она неподвижна и не творит «добра»… О, креакл Разумовский! Ведайте! Вера истинней Лейбница и прогнозов всей вашей ВШЭ! Кто знает, что́ она есть по сути? Вот, равви́ изъясняет: вера — трамплин для нас. Но куда трамплин? Расскажу о пустыннике: он искал Христа и признался: «Здесь не хочу Христа, но хочу Его в Царстве Божием». Не вникаете? — Ройцман, вновь пропав за печной щиток, вопиял там: — Русь — это крайне евангельский, говорю, народ, кровь веры! Или что, Запад, — я, Разумовский, вновь к вам как к логику, — во Христе, раз он творческий? Спросим: творческий он — куда? Чтоб выдумать «колу» зубы нам портить? Чтоб понаделать атомных бомб? измыслить сто бизнес-планов истинной жизни? То бишь, мозги раздуть, а потом разрывать, пардон, материнское чрево этой раздутой вздором башкой? Бог рёк нам: знание зла-добра есть смерть, а «*лилии не прядут*»… Кончаю вам в вашей логике: во грехе первородном мы с вами пали в фата-моргану норм и законов как наших домыслов и мыслительных фикций; значит, кто ложной яви не ценит и не поёт её, тот, конечно, спасёт себя. Не делами, но верой, точно по

[8] Здесь сейчас (лат.).

притче: кто-то корячился в гордых подвигах, кто-то в ус не дул, а Всевышний всем — поровну, так как Богу претят разумные в первородном грехе деяния. Богу Свой расчёт, Разумовский, парадоксальный! Здесь наилучшие — Богу худшие… В общем, на́-те вам «*мир сей*», нам дайте вечный. Пусть и «*в одиннадцать кто явился — спасся*», как говорится… И вот последнее, как ни горько: раз мой народ израильский верит в царство земное и это царство строит всех лучше, — кто возразит мне? — он воцарится в самом конце времён; он есть Зверь Шесть-Шесть-Шесть… Вы строите, умник, стало быть, «*мир сей*»? Вы иудей, да?.. Павел Михайлович, почему не евангельский вдруг народ в России? — выпалил Ройцман.

— После, — прервал Квашнин и поднялся, так как, закончив, докторша встала и Разумовский молча пошёл за ней из избы. — Постойте. Я провожу вас. Чтоб не пугались. Вещи здесь странные, не как всюду: бывшее здесь небывшее, дважды два здесь то пять, то сорок, то вдруг бегония; здесь плотва раз в день хариус; здесь эдемский язык в ходу; здесь Россия гуляет дурочкой Даной; здесь не хотят знать, как и зачем, но жаждут, дабы случилось, — и вдруг случается. Здесь законы теряют власть, — говорил Квашнин, как они узкой тропкой шли книзу в пойму, к пеплу костра и, отмелью, через речку. — Мне в каждом жизнь ценна, — повторял Квашнин, подымаясь по выкосу, что скосили два брата и где толпы уже, кроме маленькой группы, не было. — Коль меня вы поймёте — разве что жизнью в вас. Вам Россия без слов даст столько, что не вмести́те. Ваш мозг к ней слеп, увы; слишком он *образован*. Из человека в вас свёрстан разумом «образ»; сущность в вас гибнет. Я же уверен, что, как безумным явлены истины — сходно нашей капризной, необязательной и блажной России. Не было, чтоб грядущее вызнал разум, — но лишь безумец будет пророком. Разум — мышление духа падших. Враг его, дура Russia, видит всё истинней, — не ясней, не точней, но *истинней*. Я не стал бы, — сбился Квашнин, — звать то, что́ вокруг, Россией. Имя, название меньше целого… Но вот в Квасовке здесь — Россия; здесь Жизнь и Истина. Я ей шанс даю. Вы хотите убить её — а я разум убил и слово; спас её… — Он помедлил. — Надо немотствовать. Это Ройцман трезвонит. Пусть мир бы смолк совсем, ртом и мозгом, звуком и смыслом, вот что потребно. Логос… Исчез чтоб Логос всемирный — ваш «словобог», зову его, — вот за что я сражаюсь.

И Разумовский, морщась от боли в ране плеча, отметил, что провожатый в белом костюме сбивчив стал, неустойчив и через силу вёл, подымаясь по выкосу в зное бледного солнца:

— Я вам про русских… Мир мной убит и рушится, и, когда он падёт, увидите только русских, райскую расу. Ждёт мир, — по библии и по всем философиям, — гибель, крах, апокалипсис. Улучшать, о-добрять его, будто знаете, в чём добро и в чём зло, чем хвалится ваш рассудочный «добрый» правильный разум? Видеть наглядно, что жить «разумно», строить «добро» — в погибель, но продолжать своё? Истребили природу, бомб — миллионы, гипер-оружие… Кто из нас сумасшедший, я или вы?.. Не скажете, ибо верите в разум, в смыслы, в науку, значит в мораль: она злом/добром творит, а добро ваш кумир… — Квашнин, указав на Лохну, где чудо-рыбы шумно плескались, высказав, что и «рыба не хочет быть тенью разума, соответствовать мнениям о положенных плавать в средней России рыбьих породах», снова продолжил: — Русские валят нормы и смыслы, что навязали вы и себе, и Жизни. Мы на закон плюём, чуя морок творимого вашим разумом бытия в законах, бьёмся с «разумным». Мы род гонимого и презренного в нас самих мышления по логическим принципам, штампам, ГОСТам, идеям… Мыслите, что ещё шажок, ещё максима, ещё лишнее конструктивное царствие, ещё век и год — и всё выйдет? и образумленная Россия высверкнет разумом да закрутит болт истины? Много вас, гидов к лучшему, много новых Сусаниных, что в худшайшее влезут и уверять начнут, что ведомые дурни *сами* пошли туда. Тридцать лет вы нас водите чахлой местностью, но в прибыток себе, естественно. Превозносится интеллект, делячество хватких личностей — и клянётся невежество, косность, пьянство, праздность не мыслящих умно масс. Поблизости есть Клипаново, где юродивой служат более века, — то есть безумию люди молятся… Первородный грех, — разум, строящий от добра и зла, — избывать пора. Говорю, что хоть принято «дважды два

четыре» базисом мысли — ан свет с Востока льёт, с этой Квасовки. Здесь урочище Истины. Здесь не разумом живы, и здесь пребудут, пусть мир исчислят до оснований.

В зное на выкосе, там, где прежде их джип стоял, тарахтел «запорожец»; рядом виднелись спутники раненого и Дана в том же наброшенном пиджаке, шагнувшая положить на бинт Разумовского две руки свои, отчего боль спала.

— Едем, — велел он ей. Дана молча попятилась, и он бросил сурово: — Ты остаёшься? Нет твоих бабочек. Уничтожились.

Игнорируя Квашнина, он втиснулся в тесный душный салон, сутулившись, и водитель повёз их. Спутники, Тимофей с Крапивиным, сели сзади, болтая, что после выстрела здесь на выкосе и угона машины связывались с полицией; им сказали: «Приедем», — но так и не были. Но потом сообщили, что их джип в городе, в местном Флавске, около площади; их туда и везут сейчас.

Разумовский молчал. Случившееся: рука в бинтах, пачканая рубашка, содранный галстук, бред Квашнина, потасканный «запорожец», — всё было дурно и оскорбительно. А особенно, что он «общее место», то есть *банальность*. Хуже нельзя сказать. Оробел ли он? Нет, ни капли. Черпающий в себе лишь — и ни в чём больше — разум надменен, самоуверен. Был ли он сокрушён? Нет. Разум не знает слёз, кои участь животности. Ни растерян, ни загнан, ни сокрушён он не был. Разве чуть взвинчен. Он вспомнил рыб, немыслимых в этой зоне, бабочек, странность Даны — и посуровел, не позволяя в сём «запорожце» факты обдумывать.

Лишь в «лендровере», к каковому их подвезли, в целительной чистоте кондишна бурно сработала мысль философа, математика, идеолога. До меня мир, мнил он, — вспомнив из Парменида: «быть значит мыслить», — сходствовал с хаосом; я, сочтя по Платону, что «геометрия правит всем», поняв притом, что Россия в стихийности вне логической нормы, вздумал свести её к полноте бытия; давно ей пора жить слаженно мысли, а не напротив, что, как живёт она, так от жизни и мыслит. Мир должен *словом* стать как предвестником цифры. И это слово, предцифровое, преддигитальное, **слово высшее**, скажет он как учёный, знающий, что вождь знаний — Необходимость — внемлет уветам. Только не всяким. Внемлет ему, учёному, кто познал её суть, кто властен, чтоб ей приказывать. Я скреплю шаткость мира — и мир получит строй и порядок, мнил Разумовский. Да! Я создам столь правильную теорию, что она будет зрением, и никто не увидит вещь напрямую, но сквозь неё лишь. И все не смогут жить, как они прежде жили. Я создам точный, всесовершенный, лучший, *финальный* мир, лишь найду верный принцип, тайнопись philosophiam veram[9], дабы свести жизнь как биомассу не к треугольникам и квадратам в духе Спинозы, но к однозначным строгим прямым. Да будет! — мнил Разумовский и интеллектом ярко пылал. Да будет! Ибо для этого есть источник — мозг его! Он так долго был в умозрениях, что стал чуть ли не принципом. Вёл «лендровер» он с мыслью, что не болит рука оттого, что взята под контроль сознанием, а не даниной помощью. Нет, не зря он случился в псевдо- их чудесах! Он прибыл туда логически: он сведён был с тьмой гиблого, обречённого перед битвой жизни и цифры! Плюс эта Дана… Дана есть символ; Дана — Россия, спрашивающая, как быть, нуждающаяся в гиде, спящая в мифах, страшно наивная… Он поможет ей. А касательно разных квасовских див… Он вспомнил: флавский район, где Квасовка, это зона чернобыльской радиации; значит, рыба — мутированная плотва, а бабочки суть мутированная моль… Вдруг вспомнил он, что не видел даниной тени; и мозг умолк на время.

4. Инокиня

[9] Философская истина (лат.).

Обитель, где, кроме матери Даны (Риммы Берсеневой), подвизались ещё душ двадцать, хоть и была близ Вопли, маленькой речки, но топонимилась не по ней. В Москве, по россказнях, жил дурак рода знатного; он ходил в колпаке из меди и крыт был волосом с головы до пят, изнурял себя гладом, хладом, молитвой, скликивал бедствия, да на стогнах и папертях вопиял о «порухах царских великих». Царь его миловал. Но постфактум в калужский край был свезён человек с напутствием «вопияти свободно и невозбранно», с ним и боярыня. Он стенал-вопил, зарываясь под землю, чтоб «*из глубин воззвах*»: чем-де больше «унизится», тем слышней будет богу. В ямине, выкопанной ногтями, вóпленик умер. Год спустя возвела его мать-боярыня церковь Власия и келейку, где пребывала. Много чудес пошло! Близ неё поселились скитницы… Смута 1605-го лад, однако, попортила, а боярыню взяли в плен поляки.

В дни Филарета обосновалась Воплинская обитель, в коей спасались только мужчины, что возвели храм Спаса. Скитницы гнали их и прогнали «милостью Господа»; разорённый храм Власия восстановлен был, опоясался кельями и стал славен, ибо умножились чуда женские. Года тыща шестьсот тридцатого, в день тридцатый июля, мощи блаженного обрелись нетленными; от царицы за это в дар были земли, ловли и лес. При Анне Ивановне скит расширился, оказавшись любезным ей из-за некакой тайны: то ли внебрачный царский там плод рос, то ли её фаворит оттуда. Но через ряд лет (волей Синода, также падением общих нравов) пустынь близ Вопли упразднена была; церковь Спаса порушилась… При Советах топорщил каменный остов только храм Власия как хранилище техники. В девяносто втором году, вслед за тем как «блаженныя Евфросиния» из деревни Клипаново Тульской области оказалась из Вяземских и в мощах врачевала, вдруг калужане гордо ответили, что и в Вóплино, что стоит от Клипаново за Окой в полях, не иной кто строил обитель, как преп. Христина (Юл. Хитровó), мать «вóпленика-юрода, столпника в ямине». Обрели её мощи и упокоили рядом с найденными от сына-де; потянулись паломники; быть пошли чудотворности.

Когда Римма Берсенева оказалась здесь, храм бл. Власия, штукатуренно-белый, с длинным крестом, со службами, возносился над белой ж/б стеной. Порядок был строгий подвигом «матушки». Срок спустя приняла Римма пóстриг с именем «Анна», став в шести избранных, остальные же в пóслухе. Римма жаждала и страшилась рвать связи с миром: жаждала — чтобы быть принуждаемой к искуплению прошлого; а страшилась — думая о любви земной, о художестве, о московской красочной жизни (Дана не помнилась). Потому, как сквозь сон твердя, что ей якобы «рано», Римма с покорностью приняла свой рок… Да и с Марфой-игуменьею не спорили. Эта бывшая замминистра сферы торговли в 80-х, орденоноска, вросшая в столь обычный скрытый «двойной стандарт» эры Брежнева, горделивая, так что верила, что престиж ей положен от колыбели, вышла на пенсию в девяностом и хорошо жила; при Гайдаре обобрана, долго мучила мужа, дряхлого физика, кой преставился; оказавшись одна, решила: хватки в ней много, нищей не будет и, если доступ в ельцинский рай закрыт, инсценирует, что единственно чью желает принять власть — божью. С богом рентабельней; власть придёт и уйдёт, как дым, ведь стоять за Хрущёва, Сталина, Ельцина, имярека смешно, за бога стоять — почётно. Мигом «уверовав», замминистра крестилась, сделалась эхом «Божьего Слова» — и зацитатила где ни попадя из житий и евангелий, Халкидонского ороса и патристики (память редкая!). Калужанка по деду, вспомнила миф про вóпленика; решила, что восстановит Воплинскую обитель и примет пóстриг.

Чёрное шло ей, *очень* шло, и когда в чёрной «волге», в чёрном апостольнике, прикатывала к сынам парт-бонз, преуспевшим в наживе, скромно величась «грешная Марфа», ей не отказывали. Умом своим, деловито-корыстным, зная, что разживётся только в угар реформ, когда действуют наспех, чтоб ухватить своё, когда «баксы» рекой текут, когда все одурелые, — Марфа враз «подняла деньгý». Сходно как вдоль Рублёвки в этот период выросли виллы, точно грибы в лесу, претворилась в жизнь цель её: в глухомани калужщины вырос чистень-

кий монастырь, — конечно же общежицкого типа, то ест кинóвия, дабы ей там царить. Дом пóслушниц и монахинь, также пристройки — близ храма Власия. Церковь Спаса не строили; Спас не вписывался в дух трендов новой России, пошлой, вульгарной и показушной. Спас не ценился. Массы влекла боярыня с невменяемым сыном-вóпельником, не Бог отнюдь. Мощи их почивали в раках; гости-паломники восхищались, страждущие взбодрялись, нехристи каялись. Для трудов по хозяйству архиерей прислал старца-инока; у наружных врат расположен был пост охранников. Ум практический, Марфа знала: кадры есть всё; командовать можно теми лишь, кто рождён подчиняться. Знала, что скорое отрезвление оборвёт дары, ибо суть буржуазной контрреволюции — безоглядный грабёж средств нации ради сотни семейств; поэтому монастырь её должен сам «наваривать», пробавляться духовным, но и доходным, дабы кормить себя. Посему контингент должен быть умелый: всякие мастера с подсобными. Но какой товар предпочтителен? Роспись, впало ей, на священные и иные темы.

Время начал: рождается, как давно в Хохломе и в Палехе, «Вóплинская роспись».

Время несчастных: скоро игуменья отыскала сломленных жизнью годных художниц.

Время активной, производящей, действенной воли!

Плитками улочек меж постройками либо мрамором храма шествуя, Марфа чаяла, чтоб о ней говорили: «Жемчуг подвижников! Адамант земной, что, без устали распиная плоть, дух возводит от добрых дел к вящей святости после выпавших ей терзаний, принятых с кротким вдовьим смирением!»; либо: «Вельмия жéно есмь! Терпуг духа! Сердцем святая! Подвигом рьяна! Трудница богу непосравнимая! На Москве с иерархами ходит пóд руку!» Завела она книгу вписывать чуда, произошедшие по усердным молитвам «дивноблаженныя Божьей старицы Марфы, радуйся, вóплинская похвáло и Всероссийския да Калужския зéмли соль!» Облеклась она во вериги блёстких и лёгких дутых металлов, дабы выпячивались и *виделись*. У неё были цели; максимум — сопричислиться во Священный Синод (не знамо как, ведь по полу-то женщина); а цель минимум — похороненной быть под спудом в храме Спасителя с поминальной таблицею: «Преподобныя Марфы прах…»

Римма выбрала Воплино. Приняла и монашество, торопимая Марфой. В пóстриге было шесть: дизайнер лет тридцати, дочь коей и муж погибли; ядерщица с саркомой; плюс иммигрантка, с детства влюбившаяся в Россию; плюс пианистка с шишкой на пальце, так что когда в гостевой играла, звуки терялись. Плюс ещё были, обе под сорок, девы-близняшки, хоть страховидные, но весёлые, ласковые, что кошки; им никогда бы не быть при Марфе, кабы отец их не был известный благотворитель, выстроивший келейный дом, ассигнующий деньги щедрой рукою. Девушки знали, что, пусть богаты, шанс на любовь ничтожен из-за их внешности, ибо даже в их юности к ним не сватались, потому что отец их долго был беден.

Первенствовала Римма (Анна в монашестве). Её облик прельщал: «Красавица!»… Римма впрямь хороша была: статна, рост метр семьдесят, волос — рожь, и большие глаза над резными губами: око избы в ажурах; русская липа, Римма Берсенева… Ей минувшее мнилось призрачным; от рождения Даны дни мнились ковриком, что возможно скатать к уютной и ясной жизни, где она всё ещё иллюстратор, график, изограф, лауреат двух премий. Графика «светлая, гармоничная», по словам друзей, — и, шептались лукавцы, с очерком «женского молодого бедра близ пламенных бравых кавалергардов».

Рода Берсеневых, коренная москвичка, девочка, после девушка и дочь дикторши без супруга (позже уехавшей в Нант с французом), страстный характер, Римма вступила в брак, чтоб добавились некие, мнила, звенья ради «гармонии». Одновре́менно, дабы быть ей в ладу со всем, а верней, увенчать столь чаемый «лад духовности», Римма как-то крестилась. И воцерковилась. Бог и муж заслоняли бездны, где она стереглась бывать и каким исток безотцовщина. Если жизнь подводила к граням, что предваряли хаос безвидности, мглы и смутности, Римма вмиг отступала и обращалась к граням спиною, в фас — к житиям подвижников, что свой дар прилагают к деланью ясности. Признавая «мир Божий» с полным всевластием в нём «Все-

вышнего», Римма выбрала путь сотворчества, ибо люди суть «*образы и подобия*», как «Господь» сказал. Всё в миру при своём стоит: бог при очень больших делах, мы — при меньших. Цель людей — жить природой, поприщем бога, плюс жить законом, данным во благо, жить и «взрастать духовно», чтоб помогать «Творцу». Лад, исполненный бога, был ей в пейзажах с речками по весенним лугам, с куртинами из берёз и сосен, либо с церквушками в глухомани, либо с рассветами в Коктебеле, либо с пролесками с изобилием рыжиков в предосенних туманах, либо с морозными белоснежными зимами в шири русских полей. Лад также был ей в телесности, услаждавшей друг друга богоподобием, ибо люди суть «*образы и подобия Божии*»; да, в телесности, познающей друг в друге бога — и умножающей значит бога! Ни перуанских грозных вулканов, ни бурь, ни психов, ни скотобоен, ни войн, ни нищих, ни душегубов Римма не видела; это был мир чужой, безбожный и наказующий сам себя. Ей нравились этикет, учтивость, ясность, культурность и безмятежность, строй и порядок. Способ её бытия — рутина, должный декорум, благопристойность.

Но иногда бог, — книжный, церковный и православный, — сламывался, истаивал, растворялся в томлениях, и желалось на «грань». Тогда, тихомолком выискав нужного, сознающего, что она «ребёнок» и «артистический темперамент», что в ней «каприз», мол, — но, вместе, чуткого, чтоб держался в границах, не увлекаясь, чтоб не шагнул «за грань», Римма с ним укрывалась, где их не знали, и воплощалась в жадные оргии с обожанием тел, с познанием, значит, бога в щедрости плоти, — но без любви, бесспорно; та не могла быть в нечто вопящем, косноязычном, бурном, содомском и развращённом, в некой лишённой форм оргиастике. Там был хаос, взрыв, похоть и вожделение, ломка лада, морали. «Божий мир» — он в любви стоит, в ясной, светлой, смиренной. Бог добр и светел — хаос зол, тёмен. Зла избегают. Ведь и Христос не прыгнул на зов зла с храма (Лк. 4, 9)! Есть бич безумствам: бог дал «законы»; значит её цель — следовать норме, строящей нравственный идеал, гармонию, коя всюду, только будь зорок и ей покорлив… О, «сей мир» дивен, полон согласия! Если всё не рассматривать, что оно фатальное, что оно не могло быть иным, — как мыслить? как быть? куда тогда? Муж, сочла она, не терял ничуть от её сумасбродства. Именно! Адюльтеров ведь не было — был каприз, упоение жизнью от полноты души и телесности! Ведь она молода, художница, одарённая чутким, сверхвосприимчивым, страстным сердцем.

Мужу — любовь (и жертвенность: муж не мог дать ей семя).

Но в двадцать шесть, начиная роман по страсти, Римма решилась. Нужен ребёнок, чтоб запредельное, хаотично *безвидное* насовсем ушло, а пришла бы гармония и возник треугольник: муж-Римма-чадо. День, два, неделя прелюбодействий — кончится крепью «Божьему миру». Так она мнила.

В муже беременность возбудила тоску. До этого он расценивал Римму верною, потому что бесплоден был. И когда она, не любившая «дочь-не дочь, а чудище», провопила в истерике, что она родила сие «для него», что «он виной», — муж ушёл. Крах брака словно бы вторил краху Союза, прежней советской идеологии и эстетики в частности. Не хотели берёзок, ни живописных брошенных церковок, ни бревенчатых изб в снегах, ни гусар, ни любви, ни космоса, ни строителей БАМа. Новое время — новое кредо. Культ спешно ва́плили, лес рубили вагонами, звездолёты корёжили, а героями выставлялись «братки». К тому ещё мука жить с идиоткою, в каковой, мнила Римма, — зло. Увы! не была Дана «*образом*», а равно и «*подобием*», коль зачата в грехе! Стремительно Римма делалась набожной и не знала, что это разум в ней спекулирует, что суждения от добра и зла — это качество дискурсивного разума. (Разум лжив, коль Адам без него жил райски, с ним — впал в коллапсы. Разум не терпит авторитетов, даже и Бога, и в этом суть его. Больше он — меньше Жизни, как она со́здана. Разум взрос на руинах рая). В это не вникнув, Римма помыслила в Дане зло, раз мыслила в лад рассудку. Так как мать Риммы внучку не думала брать во Францию и её обихаживать, Римма, сдавши дочь тётке, скрылась в обитель с внутренним доводом, что отказ от родных — «к добру»; Христос

учил бросить всех для веры… В Воплино Римма мнила затворничать, потому что спокойной была лишь в келье, где она тумбочку, стол и стулья передвигала без перерыва. Ей стали значить свечка, графин не там, даже лишний вершок меж утварью. Ей казалось, что мир вокруг распадается. Римма мыла полы без устали, без конца поправляла шторы, книги, иконки, обувь, подушку, дабы пресечь распад. Собиралась в затвор. Игуменья возражала: Римма рентабельна: где она ни являлась с Риммой, там им давали много и с щедростью. В муки частых разъездов встряло письмо: дед-родственник рассказал про Дану и умолял Дану взять: предчувствует, дескать, смерть. Отослан был истеричный слёзный отказ. С тех пор Римма путалась и не в лад пела и́косы, исповедовалась никак, расписывать стала бурно и эклектично (вызрел вдруг «нервный воплинский стиль», твердили), длила молитвенные стоянья в келье либо же в храме, чтоб как-то вечером оказаться в саду, стеная:

— Что же мне делать?

Тут и возник монашек, кой, сменив прежнего при них старца (чей крест открыл погост), был для плотницких и иных работ, ещё бодрый, шестидесяти лишь лет. Мал, щупл, востронос и с кукольным гладким личиком, он казался моложе той странной детскостью, что мужчиной никто бы не счёл его. Он куда-то нёс травы, чтобы сушить их в тот небывало тёплый октябрь с летанием в предвечерии звёзд, и высказал, явно слыша вопрос:

— А делать-то ни к чему. Бог бывшее утвердит небывшим.

Римма ушла стремглав; ночью в келье припомнила: звать Зосима, иеромонах. Особенно Римме помнилось, что «бог бывшее утвердит небывшим».

Мысль угнездилась в ней, пусть и думать над мыслью некогда: прочитать надо было: «Святостью свя́тых благостных о́тец, Господи Иисусе, Боже наш, милуй, ца́рю небесный…», «Слава вовеки Троице Мира… Милуй мя, Боже», «Слава и ныне, Отче наш… милуй», также псалом петь «Милуй мя, Боже, верую во единого Господа», плюс двенадцать иных псалмов с поучением из «Пролога»; после отвесить триста поклонов вкупе с молитвой «Господь Иисусе, Боже наш, милуй нас», плюс «Владычице, упаси нечестивых нас», плюс «Достойно есть»; ну, и «Верую во единого Бога» вновь… Также надо в приделе Божией Матери непрерывно служить в дни праздников и в иные дни, буде спонсоры; в воскресенье — окто́их для Богородицы; ежедневно псалтырь читать, чередуясь почасно; плюс вообще говеть, исповедуясь; причащаться в посты и в праздники; петь на клиросе сёстрам; править вдобавок и пономарство; свечкам гореть всегда; перед образом Власия быть лампадам. Кроме сакрального, надо было расписывать двери, рамы, шкатулки, мебель, ковчежцы и мелочёвку, дабы молитвенность дополнять трудами.

Он ей встречался чаще в столярне, где рукоделил, или на улице, где он, труженик, часто дворничал. Римма сбивчиво, невзначай здоровалась, не решась спросить: как бывшее может стать небывшим? Ибо Зосима не был их духовник, хоть звался монахом «иеро-»; то есть он имел сан священника. С ним запрет был общаться, кроме обыденных, по духовным темам. Знались с ним только девы-близняшки, коим прощалось ради отца их. Да пара по́слушниц, не обязанных соблюдать устав, собирались у инока: он им сказывал «сказки». Римма послушала раз одну и всхлипнула: сказки глупые! пустяковина! Увлеклась она бывшим, ставшим небывшим, вот чем. Чтобы исчезло всё за рождением Даны — вот что желалось ей.

Ощущение бедствия возросло за по́стригом: ей хотелось в покой полнейший, ненарушимый, чуть ли не смертный.

Раз, по пороше, Римма поехала с Марфой-матушкой электричками мимо сёл да полей в снегу, мимо сумрачных станций, рощиц, заводиков, городков…

В Москве, у подъезда меж иномарками, Марфа Римму наставила. И вошли вовнутрь. В холле гладкие господа при галстуках толковали друг с другом и отражались в лаковом, с тёмной бронзой вдоль стен, убранстве. В зале за дверью длились дебаты по «политической», дескать,

«тактике», но фактически обсуждались там столкновения денег и с ними схожего. О стране говорилось, — правда, не прежде, чем устанавливалась маржа самих господ. Марфа бодро, настойчиво подходила к докладчикам и, хваля «православный дух» их ораторства, призывала к деяниям «в духе веры Христовой». Все Марфу слушали, грезя Риммой, стывшей поодаль, лакомой телом, спрятанным в чёрное. Наконец, прошли к грузному, с купидоньими губками, с грушевидным лицом в кудряшках, точно у ангела, человеку с детскими ручками. Пока Марфа твердила про «православный дух», он взирал вприщур — предложив вдруг отбыть к нему в офис по рассуждении, что они не возьмут здесь нужного, он же даст тысяч сто ($) с условием, чтоб его ПДП «любили». Марфу он усадил в машине (вроде бы в «майбахе») близ водителя; сам, сев с Риммою сзади, стиснул её дородностью. Лёгкий гнилостный запах, что ей мерещился, стал вдруг адресным.

— Я Барыгис Лев; для тебя просто Лёвушка, — он представился.

В переулке у здания, обращённого к Сретенке, виснул флаг чёрно-красно-синих расцветок с буквами «ПДП». Сквозь холл он шёл, так что всё потеснялось. Из кабинета после беседы он отослал игуменью с прыткой дамочкой — показать кино про вояж в Израиль. Сам встал над Риммою, им усаженной в кресло.

— Звать как?

— Я Анна… Анна в монашестве.

— Слышь, Ань, губы красивые.

Римма дёрнулась; он не дал ей встать. Вскоре прибыли доллары с суховатой кассиршей, им тут же высланной. Он на ключ запер дверь.

— Считай при мне, — предложил затем и следил вприщур, как она беспокойно деньги считала. По окончании он её изнасиловал, зашвырнув на стол, а потом пояснил: — За баксы ведь. Я монашку давно хотел.

Когда Римма поникла, он её выпустил.

По дороге в обитель Римму трясло внутри и игуменья слышалась, будто в вате.

В ду́ше под вечер Римма заплакала, тяжко, с хрипами. А потом несла службу и репетировала ермос «Царствен есмь!» В полночь в келье взяла из книг с виду самую древнюю, полистала и воспалёнными и сухими глазами где-то прочла с тоской, что, мол, «прелюбодейные не дают корней» и что «плод беззаконных есть всесвидетель блуда родителей…» Римма, сняв чёрный плат с волос, зарыдала; вдруг поправлять стала вещи, что, ей казалось, тронулись с мест, поплыли. Утварь расставивши по порядку и не прилегши, сидя спала она, пока ей не подумалось, что не спит и уже спать не будет впредь никогда, быть может. Вскинувшись, понеслась она в храм бл. Власия, где высокий иконостас мерк в золоте, а вблизи, на коленях, ник щуплый, хилый, с жидкой бородкой, старый Зосима. Римма приблизилась.

— Как мне бывшее утвердить небывшим? — молвила рухнув. — Дана… И деньги… Марфа… Барыгис…

Он подымал её. — Что случилось, дщерь?

— Как? — вцеплялась в монаха и бормотала она невнятное.

— А по-русски, — ответ был, — тихо смирись со всем. Не чтоб зиждить соборы, мессы, иконы, яркие вещи, множа адамов мир. А по-русски. Русское серое и как будто бездельное прояви всесмирение против злых газаватных шумных исламов и богословных умных католиков. Заиканье твоё да лепет — вот боголюбие и Христос, и правда, и Царство Божие, и спасение, и блаженства, и рай, и вечность. Дщерь, поглупей!.. Что, страшно? Ну, а не страшно, что́ привело сюда? Резать Бога не страшно? Библия, помни, книга о рае лишь! Ради пары страниц о нём эта книга написана! Остальное в ней — грех людской, легионы семантики как покров на рай, как туман беснования во грехах, как бешеная гордыня.

Римма подвинулась. — Проводи́те; мне плохо… — И, когда шли, добавила: — Я хочу исповедаться. Отче, примете?

Он отвёл её в келью.

Римма ждала ответ, сев на стул, слёзно глядя. Он, встав у двери, снял скуфью и вздохнул.

— Властей запрет исповедовать… Но по Богу, как Он меж нас всегда… — Оглядев затем безупречный порядок в келье, он вдруг расстроился. — В монастырь пришла, ждёшь приятства, отрады, успокоения?.. Сколько книг умилять себя… А что худшее-то приятство есть не еда и сон, но приятство порядка, умственной лени — знаешь ли? что покой-то и есть гвоздь, что бьёт до гроба? Ибо покойные — кто мёртв вживе… Мир превзойти пора, чтоб он кончился! Ибо истина так чужда всему, чем спасаешься, что, когда не томишься адским отчаяньем, не идёшь на смерть, чтоб не здесь, но чтоб там всем стать, — ты не в Боге… Бывшее впредь небывшее! А все знания и хотения — это, милочка, смерть твоя, как и сказано, когда ела ты с древа знания, а Бог плакал… Ты поглупей, — изрёк он, тихо топчась у двери и со скуфьёй в руке.

Римма хныкала. — Поглупей? Да как так? Мне, отче, разума не хватило жить в благонравии, я сюда пришла. Но и здесь кошмар… Не могу уже ни в миру, ни здесь… О!..

Старец прикрыл дверь, что оставалась чуть приоткрытой, и прошагал к ней. — Это игуменья либо твой духовник прикажет: ради спасения прочитай сто «отче наш», помолись сто раз, да поклонов сто… — Так сказав, он склонился к ней. — Говорю, что главнейшая из всех пагуб — разум.

— Как же вдруг разум? — плакала Римма.

— Ей! — толковал он. — Сладок яд знания! Людям, милочка, сладко знать. Здесь позор человечества, здесь первейшая тайна; наш первородный, стало быть, грех здесь!.. Ты, слышал, мать была? Я скажу, ты восчувствуй: мать, как ни любит дочь, как ни хочет ей вечности, а познаньем мертвит её. Как? — а так, чтоб о чаде до точки знать. Знать же нужно ей, чтоб неволить дочь. Пусть она дочь и любит, даже умрёт за дочь, а вот разум объять дочь хочет, чтоб всё понять про дочь и облечь её знанием, как цепями невольника. Ибо цель его — властвовать и давить Жизнь. Люди решили: знать есть «добро» для них. Не любовь к дитю либо к Богу, но осознание, что ты любишь, — вот что мы ищем, а не любовь саму, какова, коль непознана, — зло, недуг и безумие, большинством полагается. Осознание нам давай и знание. Это, милочка, в пагубу! *Зная*, чувствуешь не по-райскому, поступаешь неистинно, а как вздумал знать. Катастрофа и ужас — знать! Ибо знание, портя разум, чтоб он имел тьму смыслов, травит в нас полную и безумную страсть к Христу, Кой весь в том, скажу, что Его осудившие и распявшие умники, утолённые, как султан в гареме, и одолевшие, мнили, Бога в сознании, дабы до́сыта, вольно мыслить, были растоптаны Воскресением, сплошь бессмысленным по рассудку их! Первородный грех есть познание от добра и от зла; он — деланье той реальности, кою мнит оно, то познание: дескать, доброе — что́ от разума, а всё зло — от безумия. Но Христос воскрес — и не стало стен! и конец вещам да разумному «non» пред «*fiat*»[10]! Нет их разумной точки над Богом с Божьим «*да будет*», кое простёрло Жизнь за их знание! А коль так — не цени ничуть, что́ вокруг тебя, и не будь своей в сём губительном мире. Здесь — сочинённый мир, и не будучи в нём, ты — будешь. Выйди из разума и дерзай в смерть! — крикнул Зосима.

Римма сидела, не понимая, что́ он внушает, лишь трепетала.

— Спать хочу… — она ляпнула, но Зосима не слышал.

— Страшное, — вёл он в свете лампады возле келейных икон в углу сам собой, но и тенью по потолку и стенам, — страшное, что меня смущает, что сто́ит библии и философов и в них явлено, хоть скрываемо, ибо род людской взял гордиться обратным, но живоносное и как раз всем нам нужное, от чего обмираю я, есть *немыслие*. От познания зла-добра пошло,

[10] Да будет! (лат.).

что мы впали в кошмары. Раем закончится, если вырыгнем страшный пагубный плод! Нам чтó в этом мире, коего нет, скажи? Ничего в нём нет!

Римме чудилось, она сходит с ума.

— Ей! нет тебя. И меня нет, и твоей дочки нет, и грехов нет. Нету России, церкви, компьютеров. Есть сознание, что всё это имеется, столь похожее на действительность Божью.

— Грех — с неразумия, — прервала его Римма. — Мне духовник сказал! Он мне так сказал: «Анна, ты не подумавши, но влекома безумием согрешила. Если бы знала — не согрешила»… Правильно! Я не знала добра тогда. Нужно знать добро!

Но ей вылилось от разымчивого монашка с редкой бородкой и со скуфьёй в руке: — В Божьем древнем эдеме не было зла-добра, которые — как Харибда и Сцилла для человеков. А как их начали — вмиг свобода исчезла, рай повалился; сразу и Бог исчез. Ведь какая свобода, ежели выбрали власть добра, а, милочка? если нашим кумиром стало добро? Им рай и жизнь ограничились и венчаются смертью — «*смертью умрёте*», как нам Господь сказал. Мы, дщерь, умерли, и что б, мёртвые, мы ни делали — тщетно. Ведь, — оглянулся он на задверный скрип, — в склепе нашем, в этом вот мире: в ярком нью-йоркском, в манком парижском, в русском ли смутном, — и во вселенной всей с её звёздами и с моралью в нас, — Бога нет уже. Ибо здесь мы суть падшие… Или Бог с нами тоже пал? рухнул в скверну, считаешь, дабы быть с теми, кто изгонял Его злом-добром от разума? кто своим самоделкам начал молиться? кто обложил себя сочинёнными нормами, обозвав их предвечными, и им внемлет? кто в клетке зла и добра засел, отстранившись от Бога? Ей! мы воистину лишь понятиям служим, веруя, что они нам добро несут. А какое добро? Обманное, человечье! Бог вот нам Сына дал — Сын не смог здесь быть… Только вчувствуйся: **Сын *не* смог здесь быть**!! Стал Сын Божий — преступник в нашем добре и зле, как написано, что с Христом будет так, что убийц помилуют, а Его не помилуют. Если Сын есть Отец — то и Тот в преступниках?! Значит, вот как мы? Значит, в Бога добром своим как штыком суём?! Верить ох как непросто! Верить в «миру сём» — разум оставить. Верить — ничто не чтить, ибо всё не от веры — грех.

— О! — плакала Римма.

Старец приблизился; он светлел лицом вроде некой лампады.

— Верить — забыть про ум! В Боге нет добра; но и зла в Нём нет. Бог, Он нормой не ходит, нашим идеям не услужает. Точку над Богом смыслом не выставишь, и законом не выставишь, и моралью, и физикой. Всей наукой не выставишь! Я скажу… Я давно молчал, а Бог Жúвый исполнился. Для Него дважды два — пятнадцать, тридцать и утка, как Он захочет, и, коль есть небо, не обязательно, чтоб земля была. Осквернённое в Нём — невинно; бывшее в Нём — небывшее; нет в Нём прошлого; нет имён и деяний, гор нет и долов. Вера — вот путь к Нему! В Бога верящий здесь — преступник; в славе здесь — каста в Бога не верящих. Эти думают, что-де Бог для них, что-де Бог дал им царствовать, что-де Бог и Христа послал, чтоб спасти их, разумных, властных, имущих. Лгут они! Ибо, — взяв Римму зá руку, говорил ей Зосима кукольным личиком с вострым носиком, — Бог есть Жúвый! *Он* изволяет, *Он* предрешает! Как от Адама грех — так и некто, хоть бы и ты, дщерь, может нам рай вернуть. Умных Богу не надо, также учёных и образованных. Но явись кто один из нас с полной истинной верой — Бог сокрушит грех! Всей веры, чувствую, не имел ни Аврам, ни Сара, ни Моисей, ни Пётр-апостол, ни даже, милочка, — зашептал монах, — Сам Христос наш Бог, Кто, как Сын Человеческий, нас учил всегда, что и малостью веры труп оживляют. Он нас спасать пришёл, но не смог спасти, не восхúтил, не возвратил рай. Значит, не верил… Верь, то есть, милочка! Так что если поверишь в дважды два тридцать — быть тому. А поверишь, что ты от Бога, но не от разума — вмиг эдем пойдёт, в коем лев ест петунии и шакал спит с агнцем. Скажешь горé — та стронется; мёртвым скажешь — задышат. Ей! скажешь: «мир, прейди!» — и прейдёт мир. — Он говорил уже, отпустив руку Риммы и много тише, взором ушед в себя: — Ты язык позабудешь, нормы, законы. Станешь Христом, Кой, сшедши, всех нас помилует… Как хочу

полным верой быть!! — Старичок вдруг махнул скуфьёй. — Как вокруг нас быть Истине, если с Божьей безмерности и свободы взяты лишь зло с добром?!

Римма сжалась от страха. Так ей не надобно; ей хотелось не споров, но чтобы бог как-то внял ей, бедной, несчастной и, в целом, доброй, чтобы вернул ей время до Даны. Вкупе и Ельцина чтобы не было, и распада страны с Барыгисом, и она бы писала ясную графику с киверами гусар и с юными патриотками, благородными девами, в тех героев влюблёнными, получала бы премии, отдыхала в Пицунде, на Соловках… Зосима её расстроил; боль не уменьшилась, но металась встревоженно; не слагался порядок, как, она мнила, следует от бесед с провидцами. Бог от странных слов инока взмыл из доброго в некто жуткого, созидающего сумбурно, не от «добра», как хочется человечеству, а как вздумал он, этот бог, — кой, следственно, вправе дать не «добро», как просишь, а дать кошмарное, что за рамками и добра, и логики. Получается, Бог безумный?! Но, так как это не Может быть, ибо в книгах бог добрый, то, получается, лжёт Зосима, что непохож на сдержанных, чинных клириков, наезжавших в обитель и укреплявших инокинь словом. Этот же дёрганный, что почти ей в лицо кричит, — психопат, оттого и запрет ему исповедовать… Римма вжалась в стул, отклонясь от монашека, что стоял над ней, не желая выслушивать вздор от жалости к самоё себе, изнасилованной мужчиной да и всей жизнью — и угодившей к психу в том месте, где от дурдома мыслила спрятаться.

Дверь открылась игуменьей (Марфой) с присными.

— Ночью с женщиной?! — завела она зычно. — Что это, отче, ты распускаешься? Мне отец Вассиан велел, что не надо с людьми тебе вообще быть, раз ты юродивый.

Римма бросилась целовать длань Марфы. — Нет, я сама!.. Я в храм пошла и там… в обморок. Он меня проводил, помог мне…

— Аз многогрешный… — выпалил инок[11], выскользнув.

— Я, — игуменья крякнула, — не грешу на убогого, как Зосима наш. Но отец Вассиан сказал, рассуждать горазд этот маленький старец; неканоничен он. Кабы не был юродивым, то священства лишился бы. Вот он сказки врёт — можешь слушать; но вот шептаться — твёрдый запрет кладу. Дьявол праведных портит… Что же ты в обморок? Верно, ре́гулы?

— Да, — врала Римма, — ре́гулы… — И, когда все ушли, легла.

Без инока стало легче, точно разлад в ней, скорби и случай с мерзким зловонным хамом Барыгисом порождён Зосимою.

Неожиданно муки снова нахлынули. Она встала поправить стул, стол, иконки… Час поправляла, бегая в келье, как угорелая, но порядок не вышел, и Римма вновь легла, ухватясь теперь за кровать руками, ибо вся утварь вдруг закружилось… «Вот!! — она плакала в истерической радости. — Хорошо, что Сам Бог недобр! Пусть, пусть царствует хаос!! Пусть в мире Дана и вас насилуют! Пусть мы все поплавки в волнах! Бог, наверно, не хочет, дабы был лад во всём, а Он хочет недоброго, хаотичного, чтоб теснить добро, чтоб рождались бы Даны и чтоб я маялась!»

Месяц Римма трудилась. В тон Городецкой, роспись её шла в сбыт по яркости женского молодого бедра и воинства в киверах при сабельках. Приезжал духовник; она ему тайн не выдала, лишь покаялась, что некрепкая в вере. Сказано было богу молиться, также и плоть смирять. Сёстрам в том числе не открыла тайн: близнецы не поймут, шальные; немка не русская и хоть молится, но ей всё как кино; дизайнер, вспомнив семью свою, может вдруг оскорбиться; прочие… Как им всем объяснить, что дочь её монструозная?!

Был декабрь. С мастерской наблюдались шири полей вдали, мгла небес, крапь ворон — и Зосима в тулупе, спихивающий снег к клумбам либо меняющий на столбе фонарь; а далее

[11] Инок здесь и далее употребляется в древнерусском значении от «инъ», иной, не от мира сего.

то несущий к складу поделки, то бьющий в колокол на высокой их звоннице. Римма, хоть береглась его в рассуждении, что он рушит в ней принципы, — но вокруг не спрямлялось и даже вкривь ползло. Ей в Писании часто стало казаться, что за написанным как бы фон сквозит и сказал бог не то, что́ в буквах, но на иной «губе» бог внушает *иное*. Бог не в словах людских. Потому-то мы, слыша, бога не слышим, видя, не видим. О, не в словах бог, чуяла Римма!.. Съездила на аборт в Москву, и всё мучилась. В келье каялась, в храме к раке бл. Власия припадала — но совершенно пуста была. Ей казалось, что бог не в текстах, что и не мог он *павшим*, то есть предателям, рай отвергнувшим, говорить на их новом лживом наречии, что бы значило: бог за павшими в первородном грехе пошёл, бог пошёл за избравшими познавать зло/добро от их разума, дабы впредь играть по их правилам, то есть вставиться в ум их… Да, безусловно, впало вдруг Римме: бог — не в словах, не в терминах! В храме трогала она крест, чтоб чувствовать бога «Жи́вого», как означил Зосима, также ладони робко в кивот ввела, грызла жертвенник… Бога не было. Всё творилось в миру вокруг, будто бог ни при чём: насиловали, и жрали, и убивали — но и любили, что-то уверенно толковали, спорили, развивались культурно… Бога же не было. Римма как-то молилась, так что молитвы стали вдруг вопль истошный. Бога всё не было.

Раз попала в столярню, где жил Зосима. Комната, — в рамах, тумбах, шкатулках, чашках, тарелках, — пахла приятно хвоей и лаком. На деревянном полу и стульях гостьи внимали. Видимый со спины монашек сказывал:

— Чип был маленький, но вмещал он много, и люди вписывались в него огулом. В чипе ведь легче. Ибо дышать в нём незачем, пища незачем, не страшны в нём ни боль, ни страх; значит жить можно вечно: только впишись в чип. Так ты сто лет жив, в чипе же — вечность. Мало-помалу чипы сменили Жизнь. Электронные превзошли живых, и с них брали пример. Все жаждали походить на чип, как он есть по структуре; то есть на алгебру. Мир пронзили носители, по каким текли дигитальные души. Браки случались, коль выясняли математически, что, мол, ряду душ надо слиться на время для сверх-познания. И в конце концов стал один Высший Разум, спутавший мир сетями. Всё ушло в цифры да в электронику, вся телесность Земли. Живые, — что уцелели меж проводов, плат, блоков, слотов, процессоров, — стали есть изоляцию, чтобы жить, ибо есть больше нечего…

Он, узрев Римму, вскинулся; вострый носик блеснул при лампочке. Но она унеслась. Чушь, глупость; сказка дурацкая!.. О, она не того ждала, не химер и не россказней!! Близнецы, две сестры, и прочие, Римма видела, рты раскрыли и слушали… А ещё Римма видела, что понравилась иноку, престарелому, хлипкому, с акварельными глазками, ей годящемуся в отцы, — которого обошла бы в солнечной прежней радостной жизни, даже побрезгала бы общаться, вздумай любить её щуплый седенький гном…

У женщин в их мастерской в вечерний час вспыхнул мебельный лак. Охранники с проходной и старец лили из красных огнетушителей, пока пена не скрыла пол с обгоревшею утварью. Изнемогший Зосима выбрел под тихий декабрьский снег на улицу и стоял следя, как игуменья воет, всех обвиняя, действуя в логике, что кто в малом слаб, тот в большом предаст.

— Акт диверсии! — выла матушка. — И когда?! Когда *высших* ждём с журналистом! Архиерей окажет честь! А увидит разруху?! Кто же поверит, что здесь радеют?! Гости в Клипаново, в Спасо-Троицкий монастырь отъедут в смехе над Воплино!.. И убытков тьма!!

Марфа выла. Щуплый монашек кашлял от дыма.

Их мастерская стала в столярне, где он заведовал и, орудуя топором, ли, шилом ли, отчего-то был грустен и не смотрел на инокинь и на по́слушниц, до поры там работавших. Когда Римма чертила сказ об Адаме в раю и Еве (ланью прикрытых ради приличия), он сказал с тоской:

— Вниз пупка что, не тело? Наоборот рисуй. Чтоб не мозг Евы в красках был, но что́ в ней от любви укрась. Мозг их ланью скрой, а вот то, что к любви, — показывай. Нашу в нас боговидность мозг под себя стесал. Я, как мозг возглашает всякие ма́ксимы в его серых извилинах, нами принятых за глас истины, маюсь: вдруг стану схожим с серостью мозга?! вдруг станем студнями, а потом нас багры слов в серый кисель сведут — и не будет морей, звёзд, вёсен, песен, любви в сердцах, а лишь серое вещество одно? Ей! одна, — вдруг всплакнул Зосима, — будет на свете серость от серого вещества кругом! Ведь не зря мозг дал правило: что́ к любви в теле ближе — то, мол, постыдное. Как Адам скушал яблоко — вмиг закон, что теперь что́ к любви относится, то не властно, греховно и презираемо, а отсюда таимо; стыд, мол, иметь его… А не стыд разум слушать, серого мозга серости верить?

Римма склонялась над рисованием, но монахини слушали.

— Людям, — крикнул Зосима, — стыдно представить, что Бог схож с тем порой, что к любви у нас?! Ну а как всё же сходствует? А как Бог вдруг не есть голова в плечах — этот высший их разум? Милые, вдруг мы были иным в раю? Вдруг мы были там Жизнь в цветах, и мы Жизнь эту пре́дали, так что после восстал с неё властным фаллосом мозг в Адаме, прочее не могло быть райским из-за увечья и — стало Евой? Ева — вдруг рай-то?

Римма вскочила и из столярни прянула к зданию, где была её келья. Римма спешила, чёрная на морозном снегу… Назавтра с ней приключилась немощь, и Римма бредила наяву.

5. «НародиЯ»

Л. Барыгис начал кампанию, и предвыборный штаб старался. Рейтинг, однако, рос неторопко. Целя стать главным, он считал, что народ им любуется, дело гробят помощники. Впрочем, также народ срань.

В «мерсе», меж джипов с личной охраной, мчал он Волхонкой мимо рекламы. Ни на билбордах, ни на растяжках и ни на баннерах в его честь не виделось ни цветов, ни смеха, ни солнц, ни юности, коей он бы отечески потрафлял, ни ухарских кулаков рабочих, ни громких лозунгов «Любим Родину!», «Власть трудящимся!». Он явил Москве фас широкой и грушевидной, в мелких кудряшках светлых оттенков, физиономии с купидоньими губками. Он был слишком величествен, чтоб склонять предпочесть его. Быдлу просто дан знак, что Барыгис намерен быдлу потворствовать. Он, короче, *решил* — поэтому все должны его выбрать, чувствуя, что в стране бардак и они дерьмо оттого, что до этого власть была не у Льва Д. Барыгиса… Он стравил звучно газы, стёкшие к сфинктеру, и отметил, что у него так, если он с женщиной… вот как с этой монашкой, кою загнул тогда… Он нигде не стеснялся яростно пёргать, видя в том способ выразить взгляды на суррогатный, жалкий мирок людской. Ничего, он мнил, нет вокруг натурального; всё лишь воля Барыгиса. Он монашку хотел — означилась. Вздумал в главные — и страна взялась, дабы он в ней стал лидером. Ибо он их представил: эту монашку с этой страной. Всё морок, фата-моргана. Есть только он. Поэтому он, став главным, кончит с Россией, что лишь в мозгах его, дабы в них взялось лучшее, вроде США либо Франции… У ампирного клуба он молча вылез и с бодигардами, окружён толпой, зашагал через холл, ощерившись, что считалось улыбкой, и прибегая к харизме грузного тела, как у медведя. Думали, что при нём в государстве все будут крупные. Основательных быдло ужас как любит.

Присные партии, — ПДП то бишь, — ожидали на сцене в явном напряге, чтоб отгадать, что делать, по его мимике. От его самодурства люди сбежали бы, не удерживай их надежда сесть при чиновных важных постах, если он власть захапает. Ни один допустить не мог, что Барыгис *уже* решил их уволить и заменить другими, после и тех убрать.

— Я не лектор, — сказал он, остановившись. — Стол-ка нам с закусью.

И, когда это сделали, он сел чуть ли не с краю и продолжал с ленцой: — Тут мест двадцать; все пусть подсядут.

С грохотом стол был занят. Слышалось, как Барыгис пьёт из бутылки, шумно глотает.

— Вы, бля, решили, *я* править буду? — начал он, хмыкнув. — Я не Спиноза, чтобы народ учить. Нас учили, а толку?.. Мы с вами — жить начнём. Рента с нефти, во-первых. Стырил — в Сибирь едь, это второе. Хамы в полиции — стойка смирно, бля, у метро, честь каждому отдавать до смерти. Мать родила двух — на́, мать, квартиру. Ты олигарх? — всё сдал в казну и пошёл с нуля; покажи, чем взял: воровством или делом? Вот как мы будем эту страну спасать. Довели её умники… Дальше нет пути: срыв, абзац, полный минус. Двинем в плюса́, народ?

Посмеялись.

— Что вы мне ржёте? Я вам не клоун. Мы с вами жить должны, — вёл Барыгис, — я, ты, она… — махнул он в зал. — Чтобы суки нас делали? Мы не тронем их. Мы их на́ пошлём. Нам реальных в общак дай, а не обратно… Бля, президентство — это вещь русская? Нет, не русская. Я вот буду — «народ и я». Рядом будет любой из вас очерёдно. Он не получит чина и о́рдена, но когда он объявит: да! — так оно сразу будет. Умных мы на хер. Нам дай обычных. Власть была — против нас всегда. Но теперь будет наша власть против тех, кто против. В общем, народ и я — вот как будем звать высшего.

— Лёвина народия — на него пародия! — крикнули. — Ваше благородие, вы и есть Народия?

— Покажись мне, — скривившись, бросил Барыгис и, едва ёрник встал, добавил: — Ты будешь первый мой заместитель.

— Сладкую мелодию слышу от Народии! — не сдавался тот. — От такой Народии, жди, страна, бесплодия!

Зал заржал. Громче всех ржал Барыгис грушеподобной физиономией в мелких светлых кудряшках и похотливым ртом купидона.

По окончании он пошёл в рядах, пожимая ладони, и раздавал автографы, овевая всех гнилью, что от него порой исходила. Он дал гарантию, что, когда победит, при нём всегда будут СМИ; его президентство будет представлено как реалити-шоу; он хитрить не намерен, пусть следят и в сортире, но при условии, что и сам оператор, «бля», в унитазе. В «мерс» он взял «бабушку» — подвезти для пиара до магазина.

Позже, два дня спустя, острослова-поэта, что задирал его, подле МКАД нашли искалеченным.

Лев Барыгис был грузный, с детскими ручками, с головой зрелой груши в мелких кудряшках, также с губами, будто застывшими на презрительной фразе «бля, западло́ мне!» — что мнили имиджем оппозиции, хоть он чхал на всех без изъятия. Он «манал» всяких умников, благо был результатом ума в том плане, что́ этот азбучный обиходный ум выбрал целями: вожделение, деньги, власть. Он всех «манал», обнаружив, — пусть не мог выразить, — сокровенную тайну: ум жадно ищет общих суждений и принуждает к ним. Разумовский считал ничем всех в теории — для Барыгиса все ничто были фактом. Вор, он общак держал, тем и выбрался в верхние. Миллионов сто долларов, кроме крупных партийных сумм, он всегда имел. Он имел бы и больше, кабы не херево, когда он отдал деньги Квасу (Закваскину), заму, присному, дабы выкупить акции сепараторной фабрики в тульском Флавске, — Квас же свинтился, сгинул бесследно, так что, бля, не на ком зло сорвать. Ну, а злым он умел быть. Год назад он послал «до́хнуть» сверстника, потому что в отрочестве, вспомнил, девочка из восьмого «в» предпочла того. Домик, портивший вид с окна, он спалить велел; задевавших — пинал; в прохожего ни с того ни с сего мог плюнуть. Он не убил всех только от лени. Впрочем, порой он любил людей, — если люди смеялись всем его шуткам и его слушались. Он был редкостной сволочью. На Москве он жил в Киевцах (в современных Хамовниках).

Нынче он, на своей ближней вилле, что на Рублёвке, встретил просителя и, пусть знал того и сам встречу назначил, пусть пропустили ржавую «ладу» по его воле, спрашивал в кресле

у телевизора, сидя к гостю затылком: «Кто?» — прибавляя звук, чтоб гость в крик кричал, что он «сыщик».

Тот, кто стоял за ним и его пышным креслом в сером потёртом грязном плаще до пят, был плюгавым плешивцем, — тем самым типом с ветхим мольбертом, что тёрся в Квасовке возле выкоса, когда там был «сожи́г» в июле и происшествие с Разумовским. Тип был, однако, профи с Петровки, зрелый и опытный, но ужасно безвидный (властвуют видные, ведь тогда и их пост внушает). За год до пенсии он был только старлеем с герпесом, астмой и геморроем, но и с привычками вроде пива в закусочных да копанья в носу прилюдно. Цену, однако, он себе знал, рассчитывал на успехи: чин и красоток. Не выгорало. Скажем, недавно им поручили казовый случай из резонансных, то есть пропажу оперной дивы и олимпийки, плюс думской спикерши, и он в деле участвовал. Только слава, случись она, увенчает начальника, молодого хлыща, кто сцапает ордена и звания; а ему, следаку, лишь премию, МРОТа в три, да устную благодарность. Случай же шумный, громкий, всесветный. Врут про маньяка, жрущего женщин, и про причастность тройки пропавших то ли к хлыстовству, то ли к лесбийству, про секс-разборки и про пришельцев. Дума клокочет, все в ней, от А. до Я., призывают «спасти коллегу», пусть раньше драли ей в политических дрязгах волосы. Из «Ла Скалы» запрос о меццо, вызванной в «Трубадуре» петь, но исчезнувшей. Из-за третьей отложен конкурс саблисток. Дело такое, что победителя вмиг возносит, будь он начальник, а исполнителей прячет в тень (что, чувствовал сыщик, с ним и получится, как всегда). Поэтому он служил Барыгису, к каковому пришёл по делу, кое тот дал ему, кое связано с Квашниным П. М., то есть с «Тронутым Монстром» (и «Олигархом»).

— Родичи! У него есть родичи! — крикнул сыщик Барыгису, что смотрел телевизор в полную громкость. — Это в Саратове! У двоюродной sister матери Квашнина был муж!! У брата его был сын-музыкант, из ла́бухов[12], наркоманисто-пьющий, Феликс Касаткин! Дочь его, старшая, эта доктор! Младшая — эта сбацала хит, вы слышали, ка́вер-группа «Шаёбочки», девки сиськами трут друг друга и напевают: всё у нас было, даже беременность типа временно!

Здесь Барыгис убавил звук. Он действительно хит тот знал; скривился. — Бля, на седьмом киселе родня… Я сказал: близких родичей. Раз башляют, паскуда, ты из штанов лезь.

— Лезу, — кивнул тот и перенёс вес с правой ноги на левую, так как чувствовал, что стоять ему долго, ибо мизе́рных здесь не усаживают, не кормят, не провожают, а угораздь Барыгису не понравиться, его запросто кокнут. — Лезу, — добавил он. — Так вот младшая дочь — стервоза, Цаца Гадюкина… — (А убьёт, ну и что с того, думал сыщик; жизнь — дерьмо). — Гадюкина, говорю! — сказал он. — «Цаца» — сценический псевдоним; так — Лена.

Слушавший рявкнул: — Про Квашнина что? Что про Закваскина? Отыскал его, нет?

Барыгис, — спал он, купался, совокуплялся, пил, выступал ли перед народом, — помнил врагов своих. И одним был Квашнин П. М., кто посмел, чмырь, в Лас-Вегасе при Барыгисе и при даме, что он обхаживал, умалить его тем, что выиграл. И хотя миллиард — херовина, миллиард Квашнину не дали бы, знал державший притон Барыгис, но сучий фраер, бывший лингвист-мудак, подыхавший от рака, сто, двести лямов точно сымел-таки. Казино получило славу как место, где даже швали фарт, и восполнило траты… Этого — что какой-то бздец превзошёл его — и хватило, чтобы виновный был обречён. Добавилось, что и флавский завод квашнинским стал, хоть Барыгис в то время несколько лямов выдал Закваскину, чтоб купить завод. Квашнина уже не было бы на свете, если бы не охрана.

— Что? — он цедил, — с Закваскиным? Отыскал след?

— Сгинул. Сгинул Закваскин, — выдавил сыщик, переминаясь в сером плаще своём. — Был я в Квасовке, где Квашнин живёт. Там он деньги сжёг, миллион почти. Дед, — папаша Закваскина, тоже в Квасовке жил, — сболтнул сдыхая, что, мол, Квашнин «ухайдокал» сына.

[12] Непрофессиональный музыкант, играющий по ресторанам шансон и попсу.

Органы Флавска все проквашнинские. Он там царь: спас завод, обеспечив тем занятость; также церкви построил, ясли, больницу; благотворитель… Но заправляет Осия Ройцман как представитель и как советник… А у Закваскиных, вроде, пря была с Квашниным. Я думаю, ваши деньги там в акциях…

— Что молчал? — встрял Барыгис, ёрзнув всей тушей в кожаном кресле. — Что ты молчал, падлó? Или семь миллионов — мелочи?

— Я докладывал. — Сыщик стал в стойке смирно. — Думал, что с Цацей…

— Ты, бля, мне думать стал? — покривился Барыгис, вперившись в сыщика. — *Я* здесь думаю!

— Виноват… От бухгалтера я узнал на днях, что Закваскин был собственником завода, что он в уставный фонд в доле с немцами отдал семь миллионов и строил в Квасовке, мол, отель. Но в Квасовке жил Квашнин тогда. Он, Закваскин-дед и старик Заговеев — трое там жили… Зам ваш исчез в грозу в девяносто девятом, кажется в мае. Боссом завода стал вдруг Квашнин Пэ эМ. А завод — монополия, тридцать восемь процентов этого рынка, сбор сепараторов.

— За мой счёт на раскрут пошли… — сбавил звук телевизора, злясь, Барыгис.

— Пренесомненно! — громко льстил сыщик. — Мне рассказали, как-то стреляли, мол, со двора Квашнина в Закваскиных; Квашнина с неизвестным видели в «ауди». Может, он нанял киллера и убил Закваскина.

Взяв в коробке на столике рядом с креслом, в коем сидел, сигару, хмыкнув, Барыгис мягко вложил её в угол рта. Его грушевидная голова осела. Он не курил, он думал.

— Где эта шлюха?

Сыщик сказал: — В Мытищах. Думает уезжать. Не вызвездила, верно… Мы с Цацей можем достать его, Квашина то бишь. Ведь она типа родственница, хоть дальняя.

— Значит, Квас взял заводик мой, а Квашнин его отнял?.. Сила, бля, всё решит, — подытожил Барыгис.

И он был прав (почти).

Лейбниц мнил: очевидности «за собой ведут», подчиняя. Истина станет силою, вторит Кант, «доказав» себя. Постулат от Спинозы: правит на свете «необходимость». От Стагирита: мысль «принуждает». С необходимостью, найденной и увенчанной мозгом, нужно смириться. Вечные истины даже в бога ввели себя, ведь их суть — принуждать. И, следственно, чтобы обществу быть — всем надобно быть в одном, отсчитывать из единого. Эпиктет был готов вести к «вечным истинам» пыткой. Кант сулил оппонентам казни. Скот И. Д. сделал бога беспомощней мнений рода людского. Гегелев бог — «держава теней», не более. «Дважды два есть четыре» ставят над богом, дабы «сей мир» хранить в радость правящим. Нужно всем внушить ценность формул общего свойства. То бишь природа правится мозгом; разум диктует нормы природе… Это всё, в целом, знал и Барыгис, но не умел сказать по-научному: а сказал бы он вот что: срать мне на истины, потому что их нет совсем, а есть сила внушений их, чтоб «сей мир» был оправдан — волей монарха ли, философией (вроде той, что Платон решил, что есть время-субстанция, а Эйнштейн время свёл в относительность; или как математику от Евклида гнал Лобачевский; или как истину, что, мол, собственность обща и всенародна, скинуло мнение, что, мол, собственность частна).

Бля, сила всё решит, мнил Барыгис.

— Тёлку доставь мне, — он приказал. — Ту Цацу.

Сыщик отправился с бугаём Барыгиса — и в Мытищах, в старой хрущёвке, в двушке с кушеткой, выискал бледную, светловатую, с плоской грудью, внешности продавщиц бутика, наглую цыпу, проверещавшую, что она «не прессуется всяким чмо», но сразу же набросавшую тушью личико и сошедшую к «BMW».

Позднее, стянута джинсами до своих тайных прелестей и играя в простушку, хлопала Цаца крашеным глазом: ах, почему она на Рублёвке, блин, где живут олигархи?.. что она делает здесь на вилле?.. что за персона в кожаном кресле, столь ей знакомая по TV-передачам?.. Хмурый Барыгис, грубо сымев её (на столе изнасиловав), сразу начал работать; и Цаца видела, что писал он про «миссию ПДП — борьбу за права народа», плюс про «порядок — как предпосылку всех наших действий». И, в результате, сыщик увёз её на проржавленной «ладе», позже заметив:

— Ну, поняла?

— Чел, слушай! Я, блин, на это не западаю!! — взвизгнула Цаца, коя хотела с лёту с Барыгисом «замутить», но хамски была поюзана и затрахана, как последняя шваль. Она разыграла роль оскорблённой дамы. — Чё за хрени́на? Не поняла я, чё это было? Я… интервью в «АиФ»!! Блин, капец ему!!

— И подохнешь в канаве, — просто, с усталостью брякнул сыщик, к женщинам вялый, но понимавший: бойкой смазливой цепенькой стерве не повезло с Барыгисом.

Цаца сникла. — Чё ему надо, блин?

— А я знаю? — начал врать сыщик. — Он олигарх… У них, пойми, сто возможностей: захотел и нашёл тебя в десяти миллионах в этой Москве в момент. Захотел — поимел тебя. А захочет — убьёт… Проваливай. Хоть в «АиФ» иди. Мне без разницы. Мне велели — я отыскал тебя и привёз к нему.

Цаца, сжавшись, заныла: — Думала, съезжу: вдруг подфартит? вдруг спонсор? Он… Ни хрена, блин… да ещё вдул, гад!.. Ладно, «всё временно»… У меня есть другой хит… Слушай, лавэ подкинь? Мне на трассу нельзя, чел. Имидж мой — лесб, гейгёрл. Парней ловить? Запиарят… Чем за жильё платить?.. В шоу-бизнесе срач один, но меня не задвинут!.. Я бы звездила, а не торчала тут; но отстойная Татка, блин, из «Шаёбочек», улеглась под продюсера, мне подгадила, тварь… Урою!!.. Слышь, мне напиться бы… Чел, подкинь лавэ! Ты меня ведь подставил.

Сыщик из мятого своего плаща со вздохами вынул пачку, взял сигарету, глядя на потное лобовое стекло. — Не дам лавэ… — буркнул тихо. — Ноги, смотрю я, выше ушей; смазлива, есть голосишко… Родственник випный есть, у него и возьми лавэ.

— Это ты, — Цаца щерила зубы бледного и худого лица, — про чё, а? Ты про сестру мою и папашку?

— Про Квашнина я. В СМИ была и́нфа, типа, вы родичи, — вставил сыщик.

— Стой… — наложились на рот ему твёрдые, с фиолетовым ногтем, пальцы. — Я, чел, пожрать хочу. Я проставлюсь на харчик. Мы будем жрать — расскажешь.

— Что там рассказывать?

Сыщик двинул на Сретенку, где был бар горемычных, перебивавшихся на бюджетных кормушках лузеров. Бар был с грязными стойками, с рыбным смрадом, с маревом табака и с пьянью.

Выпив литр пива, быстро тупея, хворый, плюгавый, с лысиной сыщик тупо смотрел на лицо вблизи, бормоча:

— Ты матери Квашнина родня… У сестры её муж был. Но… Суть не в том, не в том… — потерял он желание говорить, ловчить, добиваться чего-нибудь.

Он постиг, что с рождения перед ним встали грозные неприступные стены и он в полста своих лет — никто. Женой не любим, развёлся, дочь ему не звонит лет пять уже, соплякам он — «Иваныч». Что он родился, рос и работал? Чтоб эту девку, что перед ним сейчас, впрячь в историю, в коей прок лишь Барыгису, а ему ничего? Его удел (он ел воблу) быть столбом под светила; сгнивший, склонившийся столб, к хренам, хоть башку разбей… Тот звезда — а другой, из таких же клеток, — нуль, но обязанный жить, страдать… Например, как Квашнин страдал, верещали СМИ. Но Квашнин чудом вырвался, став для всех неизбежностью его

чтить. Был нуль, а стал VIP, причудливый олигарх. И он, то есть сыщик, с этой певичкой вдруг закрутились вкруг Квашнина. Весь мир, может статься, вкруг Квашнина пойдёт.

— Лен, — брякнул он. — Этот родич твой с денежкой. Ты пойди к нему и скажи: лимончик, дядя, пожалуй; студию дай мне, чтобы хиты писать. Он… В конце концов он мужик, ты — девка… У Квашнина, — вёл сыщик, — вроде, жена умрёт… Ты, Гадюкина, вдруг мадам Квашниной окажешься? Он скопытится — треть твоя; у него ведь сыны ещё…

Вскоре сыщик заметил: Цаца задумалась, отодвинув тарелку с зразами. И тогда он добавил: — Леночка Батьковна! Я скажу тебе, когда ты будешь в дамках: «Помнишь, Цацуля, мы пили пиво?» Ну, хоть привратником-то возьмёшь меня, если станешь богатая?

Цаца кружку отставила, и он понял, что — не возьмёт; в мечтах её рос Манхэттен и бодигарды с личным шофёром-телохранителем, вроде Деппа-красавчика… Цаца вытерла губы хлебом.

— Клёво… — рыгнула. — Я, блин, читала, думала, врут… Но, в принципе, почему бы и нет?.. Бывай, старпёр… — Она выскочила из бара, не заплатив, стервоза. Сыщик уверовал, что коль в лёт надуваем глупой блондинкой, то он и впрямь никто.

Он не знал, правя в «ладе» в скучное Косино́ своё, что она пошла на Тверскую, в VIP-ресторан, проверить, будет ли узнана как певица, и что, не узнана, назвалась Квашниной, «племянницей», удостоилась ужина — и, отпущена с просьбами посещать их «с дядею», поняла, что́ делать. В голой квартире, ею снимаемой, она думала день и ночь. В фантазиях плыл пентхаус, плюс бижутерная и шикарная жизнь, плюс лично сама она как великая поп-певица, вроде Миноги… нет, Бринти Срипс, ага! И, как Ната Наглянкина, «Мисс Вселенная», объявившая, что весь приз израсходует на себя, — так и Цаца возжаждала вдруг квашнинского золота, чтоб спустить на себя, естественно.

С четырёх, может, годиков, заиграет где музыка, она дёргалась и орала — пела-де. Её ла́бух-отец играл в ресторане на синтезаторе… жизнь в чаду сигарет, шансона, водки и крэка… Лена Касаткина не прельстила бы вкусом, шармом и голосом, разве тембр хорош, — но спускала бретельки, чуя: так надо. «В сердце — истомма! Милый, истомма в розовом телле, я ох@елла!» — спела она в тринадцать, вызвав фурор и мечты звездиться. Из захолустья — махом в Европы, где белобрысый поп-дива Клюэрт томно хрипел бы ей: «Леди-леди ин рэд, вау!»… Лондон, не меньше, против саратовской их двухкомнатки с запивавшим отцом без матери!

Пела Лена везде: в шалманах, в барах, в пивнушках, на теплоходах, плававших рейсами Кимры — Астрахань. Лену злило, что сверстницы, «прошмандовки-сучонки», «круто звездят уже», вот как Лу из Саратова, из родного ей города. А она не «звездит» пока. Чтоб пробиться на конкурс, сунулась к спонсору из бандитов, — он «чпокнул» девство, нужное Клюэрту, но «замочен» был день спустя на толчке, блин…

Как-то раз выпила и закинула демо по интернетам, что, дескать, жили юные чиксы, кои делились всем и «имели беременность на двоих одну временно…» Вдруг e-mail от Кай Харчева: «Лена! Рульная влом писнюха. Надо бы свидица». И качнулся вдаль идеальный фейс Клюэрта — всплыл большой, бакенбардистый, с эспаньолкою, мэн, сварганивший Лерию, и Калерию, и иных звёзд… Прежде Кай Харчев Лену «отшпорил» — дабы «дружить», сказал. После, севши напротив, ляпнул внаглянку что, хоть «не топ ты, Лен», но смазливая; есть идея сварганить, «влом, лесб-дуэтишку, где тебе мы присрачим имижд стыдливой»; «и загалять сибя, загалять до сись! Ты всасала, нет?» Он послал за брюнеткой и «отымел» двоих. Обе лживо стонали на оттоманке, что им «улётно», ибо Кай Харчев как выводил «в людей», так свергал «с людей». Он сказал, что «Касаткина Л.» — не рульно. Рульно — «Гадюкина типа Цаца», «и Тата Ёнкина», — о напарнице. С этих пор и пошло.

«Шаёбочки», он назвал дуэт. В двусмысленном: то в бикини, то в юбочках в два вершка, то топлесс, — Цаца и Тата пели в обнимку, мацаясь сиськами.

Клип…

Успех сногсшибательный!!

Ездки!!!

Цаца и Тата в Пензе, в Твери… в Москве… в Сочи, в Хельсинках!

Гала-шоу в Варшаве! Клюэрт в судействе, блин!

Цаца с Татой «лизались», две лесбиянки, мол; заставали их «в позах». Денег при том при всём им давалось немного; Цаца в Москве не могла снять комнату. Через год Цаца рыпнулась. Кай велел не «чесать щи», или «отцедит» её в «отстой», «всасала, нет?» Цаца ляпнула, что её ждёт Клюэрт, — и была изгнана из «Шаёбочек»; заменила её тинэйджерша Хулиганкина. Цаца, сняв в Бирюлёво угол, бедствуя, не могла попасть в шоу-бизнес (ибо Кай Харчев врал на тусовках, что она «выдахлась блять, не тащит»), и лишь смотрела, как её клип, — с её же участием и вокалом, — крутят по телеку. Раз пришла на «Шаёбочек» в клуб «Припевочки», вызвав вой у фанатов, — впрочем, вмиг стихший, стоило Ёнкиной с Хулиганкиной приспустить, сучкам, лифчики! Сквозь толпу она двинулась прочь в слезах, положив, что она и взаправду нуль. Но вот что покоряла «пипл» и ей письма писали, клип её лайкали да репостили — это трогало, побуждало к борьбе; ещё на неё оглядывались на улицах, из двухсот один узнавал её и приветствовал.

Как узнал оголтелый «пёс-человек».

В конце девяностых был такой, «из Бердичева», кто, чтоб взять Москву, покорить её, в подворотне Арбата голый на цепи выл, ссал, подхватывал ртом куски, швыряемые зеваками, и в финале заваливал грубо «даму», шедшую мимо-де (а была «дама» Цацей); он с ярым лаем тискал ей бёдра; вслед за чем «господин» осанистой строгой внешности отгонял его тростью и подымал её. Рейтинг «пса-человека» рос. Он в смокинге открывал салоны, делал таблоид «Mixer искусства», пел на концертах, ставил спектакли; вёл чаты, блоги и передачи про «симулякры в сфере культуры». Цацу он содержал и, походя, с нею «трахался»… Кай же Харчев сбацал проект, где новые две «Шаёбочки» сладко пели про вечную их «беременность» у двоих подруг «одновре́менно». Как итог, Тату Ёнкину тоже прогнали из шоу-бизнеса, и вдвоём они жили с «псом-человеком», что их «пердолил». Тата меж делом интриговала — и Цаца снова хлопнула дверью, съехала, но теперь за Мытищи, где, вспоминая дни краткой славы, в грёзах разделывалась с врагом: является, скажем, с Клюэртом на фуршете и даже взглядом не удосуживает паскудцев «пса-человека» и Кая Харчева, ну а Ёнкиной морду бьёт… Если впрямь она родственна Квашнину — круто! Вспомнить фамилии всех-всех родичей, и, случись, что Квашнин их признает, — всё, Цаца в дамках. В худшем из случаев тысяч сто слупит долларов, в лучшем — брак со старпёром, смерть его — и у ней миллиард до цента! Без «двух сынов» его! Ибо если есть мысли, как всё устроить, сложится данность, ведь бытие — мышление. Это Цаца.

Сыщик же спал в замызганном мятом сером плаще; а утром, сняв рвань носков, спустился к почтовому, ниже парой площадок, ящику и за завтраком прочитал о женщинах, запропавших недавно, и о Барыгисе: дескать, партия ПДП лидирует по опросам. В маленьком интервью для «Хроники», криминального дайджеста, Ройцман выступил, заявив: «Мир кончился». Сыщик глянул в окно. Обман. Мир тот же: спальные лежбища, рыла труб хлебзавода, люди туда-сюда… Брешет Ройцман, собака: мир невредим стоит. Его мордой еврейской бы… Мир стоит. Поэтому нужно вкалывать, пусть он, сыщик, концом своей серой судьбы развлёкся бы. Это сыщик.

Утром Барыгис Лев, заказав Квашнина двум киллерам, ехал в Тверь на дебаты, думая: пусть противники пышут пафосом, пусть витийствуют, он же, тёртый калач (чем мнил себя и болван-избиратель), станет, посмеиваясь, помалкивать, чтоб казаться «народом, знающим

что к чему». Трёп незачем. Власть приблизилась. Власть — его почти. Власть такая, что, пока будет власть продолжаться, лопнут глаза у всех, а закончится — никого на земле не будет. Это Барыгис.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.